PG 3470
.V76 A6
1859

РАЗСКАЗЫ

ИЗЪ

НАРОДНАГО РУССКАГО БЫТА

МАРКА ВОВЧКА.

Изданіе К. Солдатенкова и Н. Щепкина.

Цѣна 50 коп. сер.

МОСКВА.

1859.

РАЗСКАЗЫ

ИЗЪ

НАРОДНАГО РУССКАГО БЫТА.

Vovchok, Marko
Markovych, Maria Aleksandrivna
(Vilinskaia)

РАЗСКАЗЫ

ИЗЪ

НАРОДНАГО РУССКАГО БЫТА

МАРКА ВОВЧКА.

Изданіе К. Солдатенкова и Н. Щепкина.

Цѣна 50 коп. сер.

МОСКВА.

Въ типографіи В. Грачева и К°.

1859.

PG 3470
.V76A6
1859

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, Ноября 8 дня 1859 года.

Цензоръ *А. Дрошусовъ*.

I.

НАДЕЖА.

I.

Надёжа по шестому году сиротою осталась... Покорная, тихая была дѣвочка, а ужь какая сердечная, любящая! ты только призадумайся, запечалься, она не отойдетъ отъ тебя: и поплачетъ вмѣстѣ, и потужитъ; смотришь — тоску твою развѣяла. . И гдѣ она словамъ такимъ нѣжнымъ научилась? гдѣ уговорамъ тихимъ да ласковымъ?

Прежде она между людьми маялась: то у того поживетъ, то у другаго побудетъ. Работница она была славная, такъ никто ею не тяготился, всякій еще радъ былъ; потомъ мы ее просили, она къ намъ перешла. Мы съ сестрою старухи одинокія, хворыя, — занеможемъ, некому воды испить подать. А какъ она за покойницей сестрой ухаживала! какъ дочь родная! бывало, ночей не спитъ, моя голубка бѣлая! скончалась сестра, — меня утѣшала, покоила... Рѣдкое было сердце, доброе, вѣрное!

Время-то какъ бѣжитъ! давно ли, кажись, Надёжа малолѣточекъ была, а вотъ ужь Надёжа и невѣста. Статная, высокая, легкая, какъ птичка, коса русая,

длинная, словно золото блестящая; глаза тихіе, печальные, улыбка ласковая, голосъ задушевный... Приглянулась она Ивану Петрову. Иванъ хозяинъ молодой, зажиточный; послѣ родителей покойныхъ добра не мало наслѣдовалъ... Ни братьевъ, ни сестеръ у него, самъ всему голова, женихъ завидный былъ... а изъ себя красавецъ: цвѣтущій, веселый, ловкій, дѣвушки просто сохли по немъ... Вотъ и приглянись ему Надёжа... Сталъ онъ съ ней заговаривать, сталъ ласкаться... куда бъ она ни пошла, онъ ужь и подстерегъ; встрѣтитъ ее, подходитъ, рѣчи ласковыя говоритъ, сердечныя...

А ужь она-то какъ беззавѣтно его полюбила!

Все чаще да чаще они сходятся; стали люди замѣчать, стали поговаривать... Дѣвушки посмѣиваются... Которая, можетъ, сама на Ивана-то мѣтила, не удалось, вотъ и сердце беретъ... А я ничего не знаю, не вѣдаю: да и гдѣ старухѣ увидать? отъ кого услыхать? Зима стояла студеная, то я и за порогъ не вышла. Какъ-то ужь весною, выбралась я въ праздникъ на улицу; сижу да грѣюсь на солнышкѣ, и Надёжа около меня, такая задумчивая... Скажетъ слово, да и задумается, а я тоже не говорлива: дѣло мое хворое, дряхлое — сижу да кряхчу.

Идутъ дѣвушки мимо.

— Здравствуйте, говоритъ имъ Надёжа ласково такъ, привѣтливо, — куда это вы идете? сѣли бъ съ нами, посидѣли-поговорили.

—А что, видно тебѣ безъ Ивана-то тошно?—затараторила Марѳа Кругликова, такая бойкая, пересмѣшница всесвѣтная была. — Какъ его нѣту, то и насъ зазываешь. Ужь ты лучше съ нимъ водись-знай, а намъ ты не пара!

— Вотъ воротится съ ярмарки, гостинцевъ навезетъ! — подхватила другая.

Засмѣялися звонко дѣвушки и пошли себѣ.

— Ахъ вы озорницы! крикнула я на нихъ,—а Надёжа меня за руку. «Не говори, не говори, родная». Молитъ, побѣлѣла, вотъ что твое полотно бѣлое, «сама я виновата»!

— И, что̀ это ты на себя взводишь, касатка! — говорю ей, да по головкѣ ее глажу: — жаль мнѣ стало бѣдняжечку!

— Виновата, сама виновата! сама я свою славу дѣвичью погубила!

Слезы у ней въ три ручья.

— Вотъ то-то голубушка, говорю, меня, старуху, чуждалась... я бъ тебѣ совѣтъ добрый подала, я бъ тебя поруководила! что̀ ты еще? молодая голова, неразумная! долго ли, мудрено ли обмануть-то!

— Обмануть! вскрикнула. Онъ не обманетъ... только, тетушка милая, горько мнѣ, что люди насъ судятъ!... Что жь, надо терпѣть!

—Перемелется—мука будетъ, Надёжинька! Выйдешь за него замужъ, заживете, припѣваючи, все забудется, — и твоя досада, и людскіе пересуды — все забудется!

— Охъ не забуду я, родная! отвѣчаетъ, не забуду: больно ужь тяжко мнѣ, больно ужь сердце мое ноетъ!

II.

Закручинилась она съ той поры, отъ людей бѣгать стала; гдѣ ей смѣхъ, шепотъ послышится, вспыхнетъ

вся, слезы навернутся; все ей мнится, надъ ней смѣются — все, кажется, ее судятъ. Какъ на барщину не выгоняютъ, то ее не уговоришь порога переступить: «Охъ родная, охъ милая! лучше я дома посижу! Не пойду... не пойду!»

Разъ, смотрю, куда-то сбирается вечеркомъ.

— Куда, Надёжа? спрашиваю.

— Иванъ пріѣхалъ, отвѣтила она, а сама вся вспыхнула.

— Ступай, ступай, голубушка! да поразскажи ты ему все... Что вотъ люди судятъ...

Она и побѣжала.

Приходитъ домой такая безпокойная, тревожная.

— Что, Надёжа, спрашиваю, чего такая смущенная?

— Онъ проситъ, чтобъ я завтра на улицу вышла... все я ему разсказала... что люди смѣются... что корятъ... Разсердился. «Что, говоритъ, тебѣ людей стыдиться? Я твой суженый, ты моя невѣста... Выйди, выйди, все просилъ, утѣшь ты меня!» Охъ, тетушка-сударушка! какъ трудно мнѣ выдти-то!

— Э, голубка моя! тебѣ больше мнится, чѣмъ на дѣлѣ оно есть! говорю.

Она только вздохнула.

— Я пойду, сказала помолчавши, пойду... Онъ просилъ... не ослушаюсь — пойду... Такой онъ сердитый былъ, такой гнѣвный... и ласкаетъ меня и сердится... «Нарочно выйди, выйди, коли любишь... Или тебѣ стыдно передъ людьми признаться, что я по сердцу?... Пускай-ка затронетъ кто мою суженую! посмотримъ!» Тетушка! мнѣ ли считаться? мнѣ ли обижаться? Мнѣ только голову клонить.

— Полно ужь, Надёжа! полно, дитятко! увѣщаю.

Встала она на другой день блѣдная, истомленная, видно ночью-то и глазъ не свела, бѣдненькая! Вижу, все тревожнѣй она, все тоскливѣй и говорю ей:

— Пойду-ка съ тобою, на старости-то погуляю! —

И пошли мы съ нею вмѣстѣ.

У насъ въ праздникъ какъ высыплетъ бывало молодежь на улицу — словно макъ зацвѣтетъ... дѣвушки одна одной наряднѣе, одна одной краше... только охаютъ добрые молодцы; — а молодки скромныя, веселыя... а старушки какія добросердечныя, ласковыя! сядутъ къ сторонкѣ, баютъ себѣ потихоньку да юностью любуются — утѣшаются... Тутъ по улицѣ и хороводы водятъ, и въ горѣлки бѣгаютъ, и въ *коршуна*, и *макъ* играютъ... какихъ затѣй нѣту!

Пришли мы. Я къ старушкамъ подсѣла, Надёжа къ дѣвушкамъ подошла... а дѣвушки отъ нее сторонятся, шепчутся... Такъ-то печально, такъ-то ужь тоскливо оглянула всѣхъ бѣдняжечка!... Стала себѣ одиноко... Какъ тутъ идетъ Иванъ, а съ нимъ какой-то сорви-голова, въ кумачной рубахѣ, шаровары плисовые, шапка на-бекрень, самъ-то испитой такой, щедушный, глаза у него черные, безстыжіе, волосы кудрявые, все ими потряхиваетъ, — подходитъ, подбоченившись.

«Господи! крикнулъ, озираючи всѣхъ, убей того до смерти, у кого жена хороша! Останется — мнѣ достанется!» И давай прибаутничать... смѣхъ поднялся...

— Откуда зубоскалъ-то этотъ взялся? спрашиваю у Антоновны (старушка была бодрая, живая, и любопытница такая! Все, бывало, она знаетъ).

— Изъ Зубкова, отвѣчаетъ, фабричный. Съ Иваномъ пріѣхалъ.

— Нашелъ друга! подумала я.

А Иванъ прямо къ Надёжѣ подошелъ; говоритъ, самъ на всѣхъ посматриваетъ, словно на бой вызываетъ... Надёжа слова ему не промолвитъ, сгорѣла вся, голову потупила...

«Эхъ, братецъ, закричалъ фабричный, ввелъ ты дѣвушку въ краску! ну-ка поправься: обними ее, разцѣлуй!»

А самъ все ближе да ближе къ ней подступаетъ.

Надёжа ко мнѣ: «домой! домой пойду!»

— Погоди, дитятко, и я съ тобой; говорю.

Фабричный за нами.

— Красавица! кричитъ, съ нами такъ не раздѣлаешься! коли Иванъ тебѣ не милъ, можетъ я по нраву пришелъ?

— Иди-ка удалецъ, своею дорогою, говорю ему, бездстыдствомъ-то никому не полюбишься!

— Ухъ-ухъ-ухъ, какая немилостивая! а кто тебя, бабушка, спрашиваетъ? — на меня-то такъ! Кругомъ зашумѣло: «честно ли старушку обижать? пропащая та голова, что старость не почитаетъ!»

Надёжинька моя ни жива, ни мертва... Иванъ тогда, словно, опомнился: «Отстань!» крикнулъ грозно на фабричнаго; этотъ сейчасъ и отошелъ. Шкодливъ-то онъ былъ, какъ кошка, да трусливъ, какъ заяцъ.

— Гостю, вскликнулъ, и грѣхъ прощается; помилуйте — повинную голову не рубите! Пошелъ зубоскалить, смѣшить...

Надёжа такъ и бѣжитъ, и бѣжитъ... Иванъ было за нею пошелъ, «не ходи», взмолилася, «не ходи!»

— Надёжинька! говорю. Вѣдь старыя-то ноги не рѣзвы, дитятко! гдѣ мнѣ за тобою поспѣть!

— Тетушка! промолвила, на край свѣта забѣжала бъ я! горько слушать, какъ люди смѣхомъ провожаютъ! —

А вечеръ тихій, погожій—далеко разносится смѣхъ-говоръ по улицѣ...

III.

Я все наровлю ее разсѣять какъ-нибудь... и загова-риваю, и шучу,—и она на мои рѣчи не безотвѣтна; да вижу, не развеселить мнѣ ее!

— Что жь, говорю, дитятко, когда у тебя на свадьбѣ-то попирую?

— Не знаю, тетушка.

— Э, родненькая! чего ждете-то? Зачѣмъ отклады-ваете? ужь ты и такъ у меня истаяла вся! Скажи-ка ты ему... а не то я скажу... Еслибъ только попался мнѣ, грѣховодникъ такой, я бъ ему напѣла! да что это его который ужь день не видать?

— Дома нѣту, поѣхалъ.

— Куда? спрашиваю. За чѣмъ?

— Въ Зубково, тетушка.

— Съ тѣмъ броднею-то, гулякою?

— Съ нимъ, тетушка.

А въ Зубковѣ фабрика была, и баринъ нашъ тамъ жилъ. Богатое село, красивое; отъ насъ будетъ вер-стахъ въ тридцати.

— Что это Иванъ связался съ этимъ беззаконникомъ? Охъ, дитятко! не жди пути отъ этой дружбы! боюся, что обманетъ онъ тебя!

Сгоряча сорвалось у меня это слово, да и сама я ис-пугалась, а Надёжа только усмѣхнулась, ясная такая передо мною стоитъ. «Не обманетъ, тетушка!» промол-вила...

А дни-то бѣгутъ... ждемъ-пождемъ — нѣтъ Ивана, не ѣдетъ. А тутъ и заговѣнье на дворѣ... всего три дня мясоѣду осталось, когда жь тутъ свадьбу играть! «Ну, думаю, перемучишься ты еще, бѣдненькая!» и такъ меня на Ивана досада беретъ. Не стерплю, бывало, корить его стану, браню, а Надёжа заступается, успокоиваетъ меня... и такъ меня, старуху, увѣрила, что я ужь и каюсь, что обижала его понапрасну... Вдругъ разнесся слухъ: Иванъ въ Зубковѣ женится... Другіе говорятъ, что ужь и женился... есть же такія души безжалостныя, думаю, что весело имъ смутьянить!

— Надёжинька! скажу, бывало, — хоть бы ужь онъ ѣхалъ-то скорѣй!

— Сама я, тетушка, не знаю, чего это онъ тамъ замѣшкался. Ужь я его жду не дождусь!

Заговоритъ про него — глаза у ней засіяютъ.

Ну и дождались мы его, желаннаго... пріѣхалъ съ радостью — съ молодою женою!... Господи милосердный! какъ горько, какъ обидно-то было! а Надёжа вѣрить не хочетъ — я плачу, я завѣряю — не вѣритъ... Тутъ мимо самыхъ оконъ нашихъ тройки мчатся, звенятъ колокольчики, бубенчики — молодые катаются, за ними поѣзжане, дружки, вся свадьба... поютъ, молодыхъ величаютъ.

— Смотри, дитятко, смотри, Надёжинька... да хоть теперь повѣрь мнѣ!

Увидѣла она ихъ — словно ее громомъ поразило — замерла.

А ужь я-то плачу! Я-то ласкаю ее!

Вдругъ она будто очнулась, и вздохнула такъ глубоко!...

— Ну, Богъ съ нимъ! тихо проговорила, Богъ съ нимъ!...

IV.

Какъ мое сердце-то почуяло! вѣдь все зло отъ фабричнаго пошло!

Какъ былъ Иванъ въ Зубковѣ на ярмаркѣ, приглянулся онъ тамошней дѣвушкѣ — Варварѣ Карповой, а Варвара фабричному роднею доводилась... вотъ поглядываетъ дѣвушка на Ивана да посматриваетъ, да охорашивается — фабричный сейчасъ дѣло смекнулъ.

— Варвара! говоритъ. Хочешь я тебя за него замужъ отдамъ?

А та дѣвушка хитрая, выклая, ну его поддразнивать: «гдѣ тебѣ! куда тебѣ!» Да еще, будто къ слову, примолвила; «я бъ, говоритъ, сама отблагодарила, не поскупилась,—пятьдесятъ рублей дала бъ». Ужь крѣпко ей Иванъ по сердцу пришелъ, да еще и то, что въ Зубковѣ никто ее брать не хотѣлъ. Покойникъ отецъ ея запивалъ, а мать у ней была бездомовница, вздорная, сварливая такая, потому и дочь женихи обходили; боялись, по родителямъ пойдетъ. Вотъ какъ она посулила деньги-то Мишкѣ (Мишка Гурьевъ онъ прозывался) да еще сама надъ нимъ подсмѣивается; Мишка во чтобы ни стало порѣшилъ свадьбу сладить. Увязался за Иваномъ, подбился къ нему, подлестился, въ гости напросился — вотъ это пріѣзжалъ все повысмотрѣть, все разузнать... Они ужь провѣдали про Иванову сухоту. Мишка давай къ нему приставать: «покажи да покажи мнѣ свою зазнобушку сердечную!» Иванъ обѣщался, и вызвалъ На-

дёжу на улицу... «Эхъ, братъ Иванъ! говоритъ ему: вотъ у насъ въ Зубковѣ невѣста, такъ невѣста! видѣлъ Варвару?» жужжитъ да жужжитъ ему въ уши: «женись на ней! женись!» Иванъ ни за что на свѣтѣ! А этотъ ему горы золотыя сулитъ: «она богатая; любя тебя, совѣтую — не упускай своего счастья. Заживешь себѣ бариномъ, работника наймешь, самъ только погуливай знай. А то, такъ и откупиться на волю можно... Еще тебѣ не опостылѣла работа безустанная? Видѣлъ я твою милую — что жь? слова сказать не умѣетъ, словно изъ лѣсу пришла... А Варвару не стыдно въ люди показать: разумница, бойкая, говорливая — всѣ тебѣ завидовать станутъ!»

Опуталъ его словами лестными, хитрыми, подпоилъ... пьянаго и женили... подумаешь, дѣла-то какія на бѣломъ свѣтѣ творятся! А какъ хмѣль-то прошелъ, какъ опомнился Иванъ, — горько-горько заплакалъ... Послѣ ужь мнѣ одна Зубковская старушка разсказывала, таки она родня Варварина, все на ея глазахъ дѣялось... «Гдѣ у васъ совѣсть-то, добрые люди!» говорю. «Беззаконье такое допустили!» — Да что жь, родная, они всѣхъ отуманили... Мы еще жалѣли дѣвушку, что вотъ полюбился ей такой пьяница... Послѣ ужь дѣло-то выяснилось... крѣпко онъ тужилъ, сердешный, плакалъ какъ горько... Да ужь плачь-не плачь, не развѣнчаешь! — Молодая всѣ видѣла, все чуяла... Возмутилась душа ея гордая, защемило, заныло сердце... Передъ людьми она виду не подала — гостей къ себѣ зазывала-угощала, сама по гостямъ ходила, и веселая, говорливая; только молодой-то, баили, словно съ креста снятъ. «Мой молодой хвораетъ, жалуется, съ глазу ему, что ли!» Ну да какъ туманъ-то не наводи, люди догадывались.... Ходитъ мо-

лодая мимо нашихъ оконъ и все засматриваетъ, еще не случалось ей съ Надёжой встрѣтиться лицемъ къ лицу — и ходитъ, бывало, и засматриваетъ...

V.

Выгнали насъ на барщину—огородъ барскій пололи— пришла и она, щеголеватая, ловкая, чернобровая, румяная — хороша была, только ужь бойка-то черезъ чуръ, тихости женской нѣту, ясности... пришла, окинула всѣхъ зоркимъ глазомъ; кому головой кивнула, съ кѣмъ слово перемолвила, и вдругъ къ Надёжѣ подошла.

— Здравствуй, говоритъ, дѣвушка красная! отчего мнѣ слова ласковаго- привѣтливаго не скажешь?

А сама насмѣшливо, коварно такъ посматриваетъ, посмѣивается: черные глаза горятъ, бѣлые зубы блестятъ.

— Богъ помочь! отвѣтила моя Надёжинька. Блѣдная передъ нею стоитъ, покорная.

— Что жь? только-то? не рѣчиста жь ты, красная дѣвица! Или ты меня не знаешь? Или обо мнѣ не слыхала? А я такъ вотъ про тебя много кой чего слышала

Тутъ подошли другія молодки, перекинула она съ ними по словечку и опять за свое: стала разсказывать, что вотъ у нихъ въ селѣ дѣвушка молодца полюбила, а онъ ее бросилъ, а онъ надъ ней насмѣялся... Сама все на Надёжу поглядываетъ... Слушаю я, скрѣпя сердце...

— Разнеслось, говоритъ, по деревнямъ, по селамъ, по городамъ; стыдно дѣвушкѣ горемычной въ люди показаться... вездѣ ее ославили... Истинна пословица,

что добрая слава лежитъ, а худая слава по дорожкѣ бѣжитъ... правду я говорю, дѣвушка? прибавила она, обернувшись вдругъ къ Надёжѣ.

— Правду! — отвѣтила бѣдняжка... а у самой голосъ дрожитъ, слезы льются...

Не стерпѣла я!

— Что, говорю, что молодка, ты намъ все про другихъ-то разсказываешь — Богъ съ ними! они далеко, намъ съ ними не жить, ты вотъ лучше разскажи-ка намъ про свое житье-бытье прежнее, про своего отца-матерь родимую... По яблонкѣ мы познаемъ яблочко!

Она, какъ зарево, вспыхнула... да находчива была!

— Что жь, говоритъ, что дочери про своего отца-мать сказать? спасибо моему батюшкѣ, моей матушкѣ, что вскормили, вспоили меня, сами надомною болѣли-скорбѣли...

И всякій разъ, только бъ встрѣтила, донимала она мою Надёжу; какъ донимала, Господи милосердный!

Пристанетъ, бывало: «Чего худѣешь, лебедка? По комъ, дѣвушка, сохнешь?» Или поглядываетъ на солнышко, да и приговариваетъ: «Когда бъ ужь закатилось солнышко скорѣй, домой бы я полетѣла!» дескать, ждетъ меня дома милой мой...

Охъ, змѣйка была ехидная! чуть меня, старуху, со свѣту не сжила: приду бывало домой, плачу... а горькая-то моя, что отъ нея вытерпѣла! да еще меня уговариваетъ:

— Что жь, тетушка, молвитъ, какъ посѣешь, такъ и пожнешь... не на кого плакаться, кромѣ себя...

Ину пору и теперь представится она мнѣ, словно живая, вотъ такъ и вижу ее: трудящая, тихая, печальная... ину пору голосъ ея слышится душевный... быва-

ло задумается, работаетъ и поетъ... была у ней любимая пѣсня, часто она пѣвала ее:

Хорошо тому на свѣтѣ жить,
У кого нѣту заботушки,
Въ ретивомъ сердце зазнобушки.
У меня ли, у младешеньки
Есть великая, не малая,
Въ ретивомъ сердцѣ зазнобушка.
Зазнобилъ меня сердечный другъ,
Зазнобилъ, сердце повысушилъ
Хуже травушки кошеной,
Во чистомъ полѣ сушеной;
Я сама млада на грѣхъ пойду,
Я сама друга повысушу;
Я не зельемъ, не кореньями,
Я не вѣтромъ и не вихоремъ,
Я своей слезой горючею!

VI.

Разъ сижу я подъ окошечкомъ, поджидаю Надёжу съ поля — жали барскую пшеницу — я, по старости, не хожу жать, сижу подъ окошечкомъ, а ужь смерклось, повѣяла прохлада; изъ далека шумъ несется, унывная пѣсня звенитъ, смѣхъ-говоръ долетаетъ. Сижу я, задумалась, — вдругъ кто-то вбѣжалъ въ сѣни опрометью и двери захлопнулъ. Поспѣшно такъ вошла въ избу Надёжа. Диву я далася! что съ нею? она бывало войдетъ неслышно, а то стукъ подняла такой.

— Что Надёжинька, чего ты вбѣжала такъ пугливо? подойди жь поближе, дитятко!

Притянула ее къ себѣ за руку да какъ глянула — ахнула! на ней лица нѣтъ!.

— Что тебѣ, Надёжа? что родненькая? не потаи отъ меня — скажи!

— Иванъ встрѣтился... и голосъ у ней замеръ.

— Ну, Надёжинька?

— За руку меня схватилъ... говорилъ...

— Что жь онъ говорилъ-то?

— «Погоди, постой!» упрашивалъ. «Дай мнѣ слово тебѣ сказать!» я вырвалась... я убѣжала...

— И хорошо, дитятко! говорю ей; что онъ путнаго-то скажетъ, безбожникъ!

— Какой же онъ худой сталъ! какой кручинный! промолвила.

— Дитятко мое милое! вотъ ужь онъ тебя и разжалобилъ! есть по комъ сокрушаться! Подѣломъ ему! ни стыда у него, ни совѣсти, ни слова вѣрнаго...

— Знаю, перебила меня, сама все знаю, тетушка, не говори... Богъ съ нимъ!

— Ты смотри, голубка моя, чтобъ онъ тебя не обморочилъ! въ рѣчи съ нимъ не заходи, встрѣтится — не гляди! Слышишь, Надёжинька?

Она усмѣхнулась печально-печально: «Не тревожься тетушка! все прошло, невороттится!»

И правда, бѣгала она отъ него, какъ отъ огня, а онъ таки не унимается: стоитъ гдѣ-нибудь за угломъ цѣлый день, стережетъ ее... изсохъ, на себя не похожъ сталъ, словно онъ въ тревогѣ непрестанной, въ кручинѣ злой.. А тутъ дома еще пуще неладица: жена замѣчать начала что онъ отъ нея, какъ отъ врага лютаго, отстраняется, особняется; дома не сидитъ, тоскуетъ крѣпко; а нравъ-то у нея былъ пылкій, заносчива была, горда, ревнива...

пошелъ дымъ коромысломъ: несогласье, укоры, ссоры... Иванъ, бывало, рукой махнетъ да и уйдетъ на цѣлый день изъ дому: въ будень на работу, а въ праздникъ, куда глаза глядятъ: по полю, по лѣсу пробродитъ... Онъ уйдетъ, а жена къ сосѣдямъ бѣжитъ жаловаться; жена по улицѣ кричитъ, его съ Надёжою проклинаетъ... а Надёжа терпитъ себѣ да страждетъ по своему: тихонько, безотвѣтно... Иванъ не отстаетъ, послѣднюю совѣсть потерялъ... скажется она больною, сидитъ дома безвыходно—онъ мимо оконъ дорожку проложитъ... Люди и смѣются, и осуждаютъ, и жалѣютъ—ему все ни почемъ. Я выйду, корю его, усовѣщиваю, гоню, ему и горя мало!

Сидимъ мы разъ съ Надёжою, работаемъ, лучина трещитъ, — вдругъ въ двери стукъ-стукъ. Кого это принесъ Господь въ такую пору? А вечеръ темный, непогожій, вѣтеръ бушуетъ, дождь льетъ...

— Иди, — говорю, — Надёжа; кто тамъ, отвори.

— Кто тамъ? спрашиваетъ она.

— Отворите, пустите! отвѣчаютъ отрывисто такъ, горько, что я ажно вздрогнула... а Надёжа такъ и пошатнулась... «Тетушка! его голосъ!»

— И что ты, касатка! ну не отворяй ему. Постоитъ-постоитъ, да и пойдетъ, безсовѣстный такой!

— Отворите! пустите! молятъ изъ-за дверей-то.

— Нѣтъ, тетушка, молвитъ Надёжа, а у самой лице вспыхнуло, глаза заблестѣли:—«нѣтъ, я ему отворю, — позволь—я ему скажу... я у него спрошу... зачто онъ мучитъ меня, зачто онъ губитъ меня!—и распахнула дверь такъ быстро, что я не успѣла сообразиться... Онъ такъ и бросился въ избу.

— Чего это соколъ ясный залетѣлъ къ намъ? Чего надо? спрашиваю у него сурово такъ, сурово, а онъ

и не замѣчаетъ, не слышитъ; только на Надёжу смотритъ; она стоитъ передъ нимъ, дрожитъ...

— Надёжа! Надёжа! промолвилъ онъ, — изсушила ты меня!

Не въ моготу ей стало, отвернулась...

— Не отворачивайся, дай мнѣ наглядѣться! сколько я тебя не видалъ-то!

За руку ее беретъ. Горько заплакала Надёжа.

— Милый мой! сказала, ты меня обезславилъ, ты мое сердце сокрушилъ, будетъ съ тебя!

Во мнѣ-то сердце кипитъ-кипитъ. Урекаю его, сѣтую; а ни онъ, ни она не слушаютъ, не видятъ, словно, меня...

— Ты забудь, что я на свѣтѣ живу, не томи, не мучь меня, желанный! упрашиваетъ она.

Онъ ей ни слова, склонилъ голову, разливается — плачетъ...

Какъ застучатъ въ окно! стекло задребезжало.

— А, вотъ гдѣ ты дни-вечера просиживаешь! Теперь я сама поймала! кричитъ Иванова жена...

Надёжа такъ и обмерла... Иванъ, словно, очнулся... а та кричитъ, ата вопитъ... Вскочила въ избу, прямо къ Надёжѣ: «Разлучница! змѣя!»

— Молчи! крикнулъ Иванъ... Надёжа бросилась изъ избы...

— А! хочешь, чтобъ я молчала? заставь-ка! я буду говорить! я буду кричать!

— Полно, — говорю ей — что крикомъ-то пособишь? Выслушай-ка сперва!...

— Ахъ ты старушка почтенная! на меня крикнула, потакай имъ, потакай! вѣдь ты за это прямо въ рай угораздишь!

У меня и руки опустились.

— Иди, иди, сказала я Ивану, чтобъ и духу твоего тутъ небыло... Да уведи свою сумасбродку-то!

— Ступай! — приказалъ Иванъ женѣ угрюмо, грозно.

Она ослушаться не посмѣла, зарыдала — пошла за нимъ... а онъ словно ночь темная... Больно мнѣ было, что меня жена его заподозрила, да вѣдь и не переувѣришь. А больнѣй-то всего, что не совсѣмъ я чиста: спровадить его было въ тотъ же мигъ, а я имъ разговориться дала, сама уши развѣсила... Находитъ же такое на человѣка!

Куда-то моя горемычная забѣжала! думаю. Кличу ее, не откликается, — ищу, хожу, — а темь, зги не видно... Надёжа! Надёжа! кричу. Тихо откликнулась она; я поскорѣй на ея голосъ побѣжала, нашла. — Стоитъ она недвижимая около плетня въ уголкѣ, похолодѣла вся, дождь ее насквозь пронизалъ... Почти внесла ее въ избу, на печь уложила, пріодѣла тепленько — забудься, горькая! Не время теперь бранить тебя; думаю, послѣ пожурю...

Тихо она лежала, тихо плакала... зябла все... а къ свѣту жаръ, метаться стала, стонать... я все надѣюсь: вотъ ободняется, ей полегчаетъ, а ей хуже стало... днемъ бредить начала... Представится ей, что ловятъ ее — бѣжитъ. Я сдержать не могу, откуда у ней сила берется! А то, словно, съ Иваномъ разговариваетъ, утѣшаетъ — ублажаетъ его, голубитъ: «Сердечный мой! не крушись! я за васъ обоихъ оттоскую, отгорюю!» То прощенья проситъ: «помилуйте, помилуйте меня! простите меня!»

Все хуже ей да тяжеле. На третій день, вижу, совсѣмъ плохо. Пошла я позвала Антоновну къ ней, а

сама людямъ поклонилася; лошадку выпросила, поѣхала за Петровной, за лѣкаркой... Ну, Петровна только на нее глянула, сейчасъ сказала: «Не жилица она на бѣломъ свѣтѣ!»

Разнеслось по селу: «Надёжа умираетъ!» прибѣжалъ Иванъ, я не пускаю — куда! силою ворвался! страшный такой! а Надёжа безъ памяти лежитъ, въ бреду.

— Хоть бы ей спокойно умереть-то далъ! сказала я ему, укорила.

Онъ утихъ и заплакалъ... подошелъ, сталъ около нея, и все смотритъ, глазъ не сведетъ. — Ажно жалко мнѣ его стало!

— Иванушка! говорю, поди-ка ты домой, не хорошо, ей Богу!

— Не гони меня! — промолвилъ горько.

— Очнется Надёжа, она обидится, запечалится... лучше ты уйди, Иванушка!

Взяла его за руку да и вывела на улицу, а онъ, словно дитя малое, послушное, идетъ куда веду.

Въ тужь самую ночь онъ и слегъ... Взяли отъ насъ Петровну, другую лѣкарку изъ Куликова привезли, — никто не пособилъ—не спасъ... Мучился онъ, говорятъ, Господи, какъ ужь мучился тяжко до самой смерти! Долго томился... а моя Надёжинька тихо отходила, будто засыпала.

Передъ смертью въ память пришла, исповѣдовалась, причастилась.

— Надёжинька! — плачу я, на кого жь ты меня покидаешь, дитятко! какая жизнь-то моя безъ тебя будетъ!

— Не плачь, тетушка, не плачь», вымолвила. — А вѣдь скоро меня забудутъ, какъ умру? спросила вдругъ.

— Не забудетъ тебя ни одна душа добрая, дитятко! говорю.

А она: «Лучше, какъ забудутъ... какая послѣ меня память-то остается? обезславленная!»

И умираючи, моя голубочка, печалилась этимъ!

— Дай вамъ Господи таланъ — счастье... спасибо...

Послѣднія слова ея были.

Въ четвергъ ее схоронили, а въ среду на другой недѣлѣ и Ивана на погостъ отнесли... Жена убивалась по немъ, обмирала просто... Да не такая она, чтобъ вѣкъ горевать; черезъ годъ замужъ опять вышла, завѣялась въ свое Зубково... Охъ, Богъ съ нею! Богъ съ нею!

Не забуду я свою Надёжиньку. Есть ли день, есть ли часъ, чтобъ я ее не оплакала, чтобъ не помянула! съ ней я свою радость послѣднюю схоронила... одиноко вѣкъ доживаю...

2

МАША.

(посвящается С. Т. Аксакову).

I.

Не родись ты пригожъ, а родись счастливъ, говорятъ, и правду говорятъ истинную! Меня въ молодости красавицею величали, а счастье-то мое какое? Охъ, много я извѣдала на своемъ вѣку! Мужъ у меня былъ буйный, грозный... А сестра изъ себя невзглядная была, и слабая такая, хилая, худенькая, да таланъ ей Богъ послалъ: мужъ въ ней души не чаялъ и дѣточки росли... Бывало, какъ пріѣдетъ мой хмѣльной, да разбушуется, выгонитъ меня — хоть на дворѣ морозъ трещи, хоть дождь лей: ему ни по чемъ, не пожалѣетъ, — я подойду къ сестриному окошечку, постою, погляжу... Сидитъ она съ мужемъ, говорятъ себѣ любовно, тихо у нихъ да согласно... Славу Богу, подумаю, что хоть сестрицѣ моей таланъ вышелъ! Бывало, и не зайду къ нимъ, не покажусь: что ихъ собою печалить! Вѣдь догадаются, съ какой радости позднимъ вечеромъ брожу.

И вотъ сестра-то моя, живучи и въ привольѣ и въ любви, все чахла да чахла..... Настанетъ весна, свѣжая травка пробивается, ручьи журчатъ, солнышко блещетъ — людямъ дышется вольнѣе, а она сляжетъ: грудь

болитъ, кашель ее душитъ... да все еще подержалась бы она, можетъ, на свѣтѣ, если бы не померъ мужъ... Ѣздилъ онъ за дровами въ ненастье; пріѣхалъ — захворалъ, да на пятый день Богу душу отдалъ... Схоронила его сестра, и сама краснаго лѣта не дождалась.

Передъ смертью она и говоритъ мнѣ: «Сестра! вотъ я умираю, — будь же ты въ моемъ дому хозяйка, моимъ дѣтямъ мать... И имъ будетъ лучше, и тебѣ веселѣе; вѣдь и ты сиротѣешь одинокою».

А я тогда ужь вдовой была.

Распродала я кой-какіе пожитки свои, да и перешла къ сестринымъ дѣтямъ. Послѣ нея двое осталось: сынокъ и дочка. Сынъ по десятому году остался, дочка по четвертому. Добрыя были дѣточки, спасибо имъ! Отъ роду мнѣ виду косаго не показали, слова грубаго не слыхала отъ нихъ, покоили меня, почитали. Взростила я ихъ, взлелѣяла и стали они мнѣ, что̀ ро́дныя дѣти.

II

Братъ и сестра, а не схожи были нравомъ, ужь какъ не схожи! Ѳедя былъ мальчикъ веселый, смирный, покорный, а Маша ужь такая своеобычливая! такая быстрая, пытливая! Бывало, скажешь Ѳедѣ: «Ѳедя, голубчикъ! не дѣлай того или другаго! не ходи куды, не говори чего», онъ покорится охотно: не надо, такъ и не надо! — и другимъ себѣ займется. А Маша допытываться станетъ: да отчего? да почему? И свои доводы у ней найдутся, да еще, случается, и меня-то, старуху, съ толку собьетъ, что я виновата выйду, а она права. И ко всему-то Маша прислушивается, все замѣчаетъ, все провѣдаетъ; что̀ ты

ни спроси — все слышала, все знаетъ, да еще и обсудитъ своимъ умишкомъ дѣтскимъ... Что̀ это за душа у ней была зарная, живая, неукротимая! Что̀, бывало, задумала — ужь сдѣлаетъ; захотѣла чему научиться — научится. Ну вотъ хоть примѣрно сказать: пожелалось ей кружево плести. «Гдѣ тебѣ, Маша,» говорю ей, «рученки-то у тебя какія?» А ей всего седьмой годокъ пошелъ. Она все проситъ: покажите, научите! Я показала ей. Сидѣла моя дѣвочка, почитай что съ недѣлю, путала, просто не ѣла, не пила, пока не выучилась. Подходитъ, мнѣ показываетъ, а глазенки-то такъ и сіяютъ, такъ и бѣгаютъ. Я беру усмѣхаючись, глянула, — диву далася: вѣдь выплела кружево ровно, славно. И вотъ такъ-то во всемъ, бывало, своего добьется. А съ виду тихая и нерѣчистая.

Вотъ, пошелъ Машѣ седьмой годокъ... Случись мнѣ съ Ѳедей въ городъ поѣхать, того-другаго припасти надо было; ѣду да и наказываю Машѣ: «Смотри, Маша ни куда не отлучись изъ дому; жди насъ, гостинца привеземъ». Она обѣщалась. А слово у нея, даромъ что дѣтское, да вѣрное, — я спокойно себѣ отъѣхала.

Пока мы оглядѣлись, пока закупили, воротились домой позднимъ вечеромъ; въ избу вошли — Маша не встрѣчаетъ. Окликаемъ ее — тихо, нѣту. Подождали — все нѣту. Пошелъ Ѳедя къ сосѣдямъ спросилъ. А сосѣди разсказываютъ: Маша ваша все сидѣла подлѣ своей избы на заваленкѣ, съ нашими ребятишками играла; а тутъ барыня проходила деревней, остановилась, посмотрѣла и спрашиваетъ у вашей Маши: «Что это ты такъ разшумѣлась? (А они тогда въ коршуна играли). Свою барыню знаешь? чья ты?» Маша оробѣла что ли, не отвѣтила, а барыня-то ее выбранила: «дура ростешь, не умѣешь

говорить!» Маша такъ и сгорѣла вся, и заплакала, а барынѣ жалко вѣрно стало: «Поди сюда, дурочка, поди ко мнѣ! говоритъ. Что̀ смотришь изъ подлобья, поди, поклонись барынѣ!» — Да видитъ, что Маша не идетъ: «подведите ее ко мнѣ!» приказываетъ ребятишкамъ. Маша какъ бросится бѣжать, и не догнали... послѣ мы ее и не видали, не выходила на улицу. А барыня старостѣ говорила: «что̀ ты такихъ дѣвчонокъ не посылаешь хоть въ саду дорожки чистить? ты посылай».

Пришелъ Ѳедя, разсказалъ мнѣ; дрогнуло у меня сердце. Гдѣ жь это Маша дѣлась? думаю. А Ѳедя самъ не свой: крѣпко̀ онъ сестренку любилъ. Ждали мы, ждали, думали, думали, да и пошли ее искать, всю деревню обошли, окликаемъ ее по тихоньку — нѣтъ какъ нѣтъ! Идемъ ужь домой огородами сосѣдскими, конопляниками. Вдругъ какъ бросится къ намъ Маша!

Схватили мы ее наруки, поцѣловали крѣпко: славу Богу, жива, нашлась!

III

— Пойдемъ домой, Маша! говорю; не поминаю ей, что она напроказила, вижу — дѣвочка перепугана.

— Да я тебя на рукахъ донесу, Маша! говоритъ Ѳедя, радостный такой!

Маша все обнимала насъ, а тутъ стала вырываться.

— Пойдемъ домой. Маша!

Упирается: «не пойду».

Мы ее уговаривать: «не пойду, не пойду... меня барыня возметъ!»... Да давай прижиматься ко мнѣ, проситься: «не отдавайте меня ей! спрячте меня!»

— Не бойся, родненькая, не бойся! Это тебя пострашали только. — Кое-какъ уговорила ее, привела домой, успокоила, да тогда ужь и говорю ей: «Маша! чего ты барынѣ-то не отвѣтила? не хорошо, дитятко!»

Такъ она и вспыхнула вся...

— Не маленькая ты, Маша! — все увѣщаю, — знаешь, чай, что барынѣп окориться надо... хоть она и сурово прикажетъ — слушаться надо.

— А если не послушаешься? промолвила Маша.

— Тогда горя не оберешься, голубчикъ! говорю. Любо развѣ кару-то принимать?

А Ѳедя даже смутился, смотритъ на сестру во всѣ глаза.

— Убѣжать можно, говоритъ Маша, убѣжать далеко... Вотъ Тростянскіе лѣтось бѣжали...

— Ну и поймали ихъ, Маша... а которые на дорогѣ померли!

— А пойманныхъ-то въ острогъ посадили, распинали всячески, говоритъ Ѳедя.

— Натерпѣлись они и стыда и горя, дитятко! — Я говорю, а Маша все свое: «Да чего всѣ за барыню такъ стоятъ?»

— Она барыня, — толкуемъ ей, — ей права даны, у ней казна есть... такъ ужь ведется...

— Вотъ что! сказала дѣвочка. А за насъ-то кто жь стоитъ?

Мы съ Ѳедей переглянулись: что это на нее нашло?

— Неразумная ты головка, дитятко! говорю.

— Да кто жь за насъ? твердитъ.

— Сами мы за себя, да Богъ за насъ! отвѣчаю ей.

IV

Съ той поры только и рѣчи у Маши, что про барыню. «И кто ей отдалъ насъ? и какъ? и зачѣмъ? и когда? Барыня одна, говоритъ, а насъ-то сколько! Пошли бъ себѣ отъ нея, куда захотѣли, что̀ она сдѣлаетъ?» Откуда у ней такія мысли брались, что въ пору только старому человѣку подумать! Отгонишь ее: «полно тебѣ, Маша, молоть!» Она себѣ сядетъ, задумается, да иной разъ, подпершись ручкой, такъ долго-долго сидитъ, думаетъ... Вдругъ однимъ утромъ къ намъ староста на дворъ. Маша завидѣла его, побѣлѣла и отбѣжала въ уголокъ. Вошелъ и кличетъ Машу на работу. «Иди, говоритъ, на барщину, красная дѣвушка!» Шуткою хотѣлъ развеселить насъ, что ли,—добрый былъ человѣкъ покойникъ, — да видитъ, что мы головы повѣсили и самъ вздохнулъ. «Наменя не пеняйте, молвилъ, я самъ человѣкъ подневольный!»

«Иди, Маша!» говорю.

А на Машѣ лица нѣтъ. Крѣпко уцѣпилась за лавку ручонками: «Не пойду, шепчетъ, не пойду!»

Мы ее уговаривать, усовѣщевать: «Черезъ тебя и намъ достанется!» — а у нее одно слово отвѣтное: «не пойду!»

Что̀ съ ней сдѣлаешь? И жалко ее укорять-то, дѣвочка совсѣмъ потерялась. Мы отговорились: больна Маша. Вѣдь доля-то наша такая, что порою по неволѣ слукавишь! Горькая доля, скажу вамъ!

Надѣялась я, что ласкою ее ублажу, и все тихонько уговаривала... Не слушается дѣвочка... Прошелъ годъ,

другой, третій... Ужь сколько мы хлопотъ, сколько горя набрались съ этой Машей! Полоть ли огороды барскіе кличутъ, по ягоды господамъ посылаютъ — «Не могу! говоритъ Маша, я больна!» А барыня ее помнила, и все бывало спрашиваетъ: «отчего нѣтъ на работѣ Ивановой Машки? Больна? Чѣмъ это больна? Приведите, я посмотрю ее сама». И водили къ ней Машу сколько разъ. «Чѣмъ больна?» — «Все болитъ!» Барыня побранитъ, погрозитъ и прогонитъ ее... «Чтобъ была завтра на работѣ!» прикажетъ,—«слышишь?» «Слышу»,—отвѣтитъ Маша, а не пойдетъ и завтра. Стала барыня очень гнѣваться, и за насъ съ Ѳедею принималась, что мы Машѣ потакаемъ.

А мы сами тому не рады, сами ее увѣщаемъ — иди! Одинъ разъ грѣхъ-то былъ, что мы слукавили; кто жь ее зналъ, что за это уцѣпится... Стоило только Машѣ поклониться, попроситься—барыня ее отпустила бы сама, да не такая была Маша наша. Она бывало и глазъ-то на барыню не подниметъ, и голосъ-то глухо звучитъ... а вѣдь извѣстенъ нравъ барской: ты обмани — да поклонись низко, ты злой человѣкъ — да почтителенъ будь, просися, молися: ваша, молъ, власть казнить и миловать — простите! и все тебѣ простится; а чуть возмутился сердцемъ, слово горькое сорвалось — будь ты и правдивъ, и честенъ — милости надъ тобою не будетъ: ты грубіянъ! Барыня наша за добрую, за жалостливую слыла, а вѣдь какъ она Машу допимала! «Погодите»,—бывало на насъ грозится, — «я васъ всѣхъ проучу!» Хоть она и не карала еще, да съ такими посулками время не весело шло.

V

«Вотъ, Маша, — говоритъ Ѳедя, — какая у тебя совѣсть-то! Ни по чемъ тебѣ въ глаза неправду говорить. Чѣмъ ты больна? Только Бога гнѣвишь! Я вѣдь вижу, какъ ты по вечерамъ танки-то водишь... До барыни, думаешь, не дойдетъ? Не хорошо, что ты насъ подъ барскій гнѣвъ подводишь!»

Махнулъ Ѳедя рукой, да и замолчалъ. А Маша вспыхнула, вздрогнула, а сказать ничего не сказала. Только съ той поры она не идетъ на улицу. Ну, думаю, не долго она посидитъ — соскучится... Проходитъ недѣля, проходитъ мѣсяцъ — она все дома, — только припавши къ окошечку смотритъ, какъ другіе гуляютъ. А у насъ, въ погожій вечеръ, на улицу сберутся и дѣвушки, и ребятишки сбѣгутся, — тутъ пойдутъ игры разныя, бѣготня, пѣсни... Иной разъ подумаешь—тонкозвенящими колокольчиками полна цѣлая улица! Такъ и разливается веселый смѣхъ молодой, то пискъ слышенъ, то плачь ребячій... Вышла молодуха унять озорниковъ, и все покрыла своимъ голосомъ, звонкимъ, строгимъ... А Маша тоскливо прислушивается, откликъ всякій, всякое слово ловитъ, и сама она не замѣчаетъ, какъ слеза сбѣжитъ горючая. Жду-пожду, что вотъ она попросится, — нѣтъ, видно не дождешься! Совѣстится, думаю, дѣвочка, дай ужь я выручу ее. «Маша», говорю, «чего не пойдешь, не погуляешь, дитятко? Поди-ка, развѣйся немножко».

Сама гляжу на нее: вотъ обрадуется? а она мнѣ этакъ спокойно отвѣчаетъ: — «нѣтъ, говоритъ, я не пойду».

«Да что ты, Маша? Морочишь меня что ли?»

— Не пойду, — опять проговорила, а сама и бровью не шевельнетъ.

«На меня что ли сердишься?» спрашиваетъ Θедя. «Ты лучше позабудь», проситъ ее, «барыня крѣпко меня донимала за тебя, — такъ я упрекнулъ... Самому, видишь, горько стало. —Не сердись, Маша! поди на улицу!»

— Я, — отвѣчаетъ, — Θедя, не сердита, только ты не упрашивай меня по-напрасну — не пойду.

И не разъ мы ее уговаривали, просили, какъ просили-то!

— Не пойду!

VI.

Не на шутку я стала тревожиться. Сидитъ она цѣлый день задумавшись, и слова отъ нея не добьешься... худѣть стала...

«Полечить ее надо, Θедя, — говорю, — надо Дерновской лѣкаркѣ поклониться». А на Дерновкѣ лѣкарка была умная, знающая. Какъ услыхала объ этомъ Маша: «тетушка, говоритъ, милая, не лѣчите вы меня — не вылѣчите!»—Что ее слушать, думаю, и таки послала Θедю на Дерновку. Привезъ онъ лѣкарку; осмотрѣла она Машу. «Недугъ ея, видно, отъ тоски больше», говоритъ. Поглядѣла на всѣхъ насъ. «Кажись, обижать ее у васъ некому; на зазнобушку сердечную еще пора не пришла, — не съ глазу ли? Разскажите-ка мнѣ, что вы сами думаете?» — Не знаемъ, голубушка, говорю. Побоялась признаться, что барскій глазъ сглазилъ... «Эхъ, рòдные, ужь вы не потаите, правду мнѣ скажите, — я васъ не выдамъ».

Такъ она добродушно это сказала, что я ей и призналась: такъ вотъ и такъ, на барыню я думаю.

— Бываетъ, родная, бываетъ, промолвила старушка. Съ той поры неможешь, касатка? у Маши спрашиваетъ.

А Маша не то усмѣхнулась, не то помрачилась: «Съ той поры!» отвѣтила.

Покачала головой лѣкарка, и еще пристальнѣе поглядѣла на Машу, и опять головой покачала. Умыла ее и травку какую-то дала. «Ты травку пей-таки, до восходу солнечнаго».

Провожаю я старушку, да и спрашиваю: «что, голубушка, чѣмъ утѣшишь меня?»

— Да какъ Богъ дастъ! говоритъ. — Отъ дѣвочки не добьешся ничего, словно она сама свой недугъ-то голубитъ!

VII.

Пристала я къ Машѣ: «пей да пей травку!»

Скрѣпя сердце, пила она; ну, а помощи не было: изводится просто дѣвочка... цѣлую зиму мы съ нею горевали... Съ весною, съ тепломъ, словно полегшило; цвѣтнѣй стала, въ ростъ пошла. Дивно только мнѣ, что все она будто сонная цѣлый день ходитъ. Молчу пока, да замѣчаю... Тамъ ужь такъ пошло, что гдѣ она ни присядетъ, тамъ сейчасъ и заснетъ... Безпокоилась я этимъ, да вижу дѣвочка все краше да краше, — можетъ, думаю, это недугъ выходитъ, и все молчу себѣ.

Вотъ одной ночью — звѣздно, тепло было — немоглось мнѣ, и я не спала. И вижу, вскочила моя Маша, постояла, прислушивалась — все тихо, — и выскользнула въ дверь. Сердце у меня забилось... жду, жду — долго ее нѣту! Не утерпѣла я, вышла. На дворѣ пу-

сто — гдѣ она? Да гляжу на огородъ, а по огороду что-то бѣлое такъ и носится, такъ и вьется... Перепугалася я до смерти. «Маша! Маша!» закричала. Она какъ ахнетъ, и словно обмерла. Я къ ней. «Что ты тутъ дѣлаешь?» Схватила ее за руку, привела въ избу, Ѳедю разбудила, лучину засвѣтила, смотрю на нее, а она бѣлая, бѣлая стоитъ. Стали мы допрашивать, укорять; у ней слезы градомъ: «Не воспрещайте, родные! Я вѣдь словно въ неволѣ сижу!... Тяжело мнѣ... Часто не спится по ночамъ; я какъ выйду, погуляю — полегчаетъ. Никто того не знаетъ, не вѣдаетъ — бѣды вамъ никакой не будетъ, а мнѣ-то хоть ночью на свѣтъ Божій поглядѣть, хоть дохнуть вольно!» Рѣчь ея такая живая, торопливая, слезы сыплются...

«Богъ съ тобою, Маша! говорю. Жить бы тебѣ какъ люди живутъ... Отбыла барщину, да и не боишься ничего... А то вотъ по ночамъ бродишь, а днемъ показаться за ворота не смѣешь».

— Не могу, шепчетъ, не могу! Вы хоть убейте меня— не хочу!

А Ѳедя только приговариваетъ: «быть бѣдѣ!»

Убѣждать, уговаривать, — а она насъ не словами, горючими слезами молитъ.

VIII.

Ну мы и не стали перечить — видимъ, ее не переупрямишь! страшно еще, чтобъ чего надъ собой не сотворила—отъ нея все станется! И каждую ночь, бывало, гуляетъ она... Я нарочно подкрадусь, смотрю — то сядетъ она, посидитъ, то встанетъ, походитъ, и дохнетъ такъ

вольно, глубоко... Ужь пускай мнѣ Господь проститъ за то, что я ее покрывала! жалка она моему сердцу-то вѣдь какъ была!

Стали мы свыкаться съ ея чудесами, съ своимъ горемъ... Думали, надѣялись, что въ лѣта войдетъ — образумится. Года то шли, уходили, а утѣшенія намъ не было!

На 16 году какъ разцвѣла Маша! Высокая, статная, бѣлая, какъ кипень, уста алыя, глаза ясные, брови дугой — красавица! и хороша и молода, а какъ бывало мнѣ на нее глядѣть-то горько! что за жизнь ея? Ни утѣхи, ни радости!

«Охъ, Маша, моя рòдная!» говорю ей. «Еслибъ тебя Господь отъ тоски твоей помиловалъ! зажилось-то бъ какъ весело! Замужъ бы ты пошла».

— Чтò жь замужемъ-то! Одинаково! отвѣчаетъ.

«Не прогнѣви ты Бога, Маша! чтò это ты на себя накликаешь? Ты молись, да надѣйся, Богъ счастье-таланъ пошлетъ».

— Какое счастье! сказала, да горько такъ усмѣхнулась.

«Ахъ, Маша! говорю. Да я вотъ цѣлый вѣкъ горевала, а все людскому счастью вѣрю, а ты еще недавно изъ пеленокъ вышла: тебѣ ли рѣшать, моя желанная! есть счастье»...

— Есть, перебила, да не про нашу честь! и опять усмѣхается.

«Въ Божьей волѣ, дитятко! Вотъ твоя мать покойница, нешто не была счастлива?»

— То она, — говоритъ, — а то я...

Слушая такія рѣчи, и Θедя сталъ задумываться, пригорюнился.

IX.

На ту пору барыня какъ-то запомнила про Машу— или ужь ей самой надоѣло ее мучить, — намъ жилось поспокойнѣе. Изрѣдка зайдетъ кто изъ сосѣдей, или съ деревни дѣвушка къ Машѣ забѣжитъ провѣдать ее, и дивуются всѣ, что болѣетъ Маша, а цвѣтетъ, какъ маковъ цвѣтъ. И стали ходить по селу слухи разные: одни говорятъ, что притворяется Маша, работать господамъ лѣнива, а другіе — что тутъ замѣшалась недобрая сила... Охъ, не разъ и мнѣ самой приходило это въ голову; только молюсь бывало Заступницѣ — заступи!...

Плачу я бывало: «Вотъ, Маша, что̀ люди про тебя говорятъ». Она молчитъ, словно не къ ней рѣчь. «Что жь, дитятко? Тебѣ, кажись, все нипочемъ?»

— Тетушка! — промолвила, — есть у меня, можетъ, кручина потяжелѣй! — А какая, не сказала.

А по деревнѣ ропотъ: «Мы весь вѣкъ свой на барщинѣ; ужь наши косточки болятъ, у насъ дѣти калѣчатся, — некому приглядѣть — и старый и малый на работѣ, а вотъ Марья дома нѣжится — что̀ жь мудренаго, что краше ея на деревнѣ нѣту? Бѣлоручки-то всегда пригожи!» А Маша хоть тосковала, а свѣжая и пышная такая была! и кричатъ: «что это за болѣзнь такая, что не сушитъ, а краситъ?» И до барыни этотъ ропотъ дошелъ. Есть вѣдь такіе люди на свѣтѣ, что какъ только имъ жутко приходится, они и другаго подъ бѣду наровятъ: словно имъ отъ чужаго горя легче станетъ... Барыня опять вскинулась на Машу, послала за нею: «явись сейчасъ!» — Не могу, говоритъ Маша, — я больна!—

Велѣла Машу силою вести... Повели ее... Барыня ее встрѣчаетъ, — бранитъ, коритъ, сама ей серпъ въ руки даетъ, да глазами на нее сверкаетъ. «Выжни мнѣ траву въ цвѣтникѣ!» и стала надъ нею — «жни!» Маша какъ взмахнула серпомъ, прямо себѣ по рукѣ угодила; кровь брызнула, барыня вскрикнула, испугалась: «ведите ее, ведите домой скорѣй! нате платочекъ — руку перевяжите!»

Привели Машу — Господи, сумрачная какая! Сорвала съ руки барскій платочекъ и далеко отъ себя отбросила.

«Маша!» говоритъ ей Ѳедя, «не слѣдъ тебѣ барыню такъ гнѣвить... Еслибъ это Трущовская, вѣдь давно съ свѣту сжила бы».

Маша ничего на братнины слова, только у ней ярче глаза блестятъ.

«Сердита на тебя, — уговариваетъ все Ѳедя, — а платочекъ свой дала, примочку сейчасъ прислала — пожалѣла тебя»...

— Да, — промолвила Маша, — пожалѣла! Они, Ѳедя, господа-то твои добрые, что и говоритъ, — они въ головку цѣлуютъ, да...

Вздрогнули мы, услыхавши слова такія...

X.

Вижу я, Ѳедя себѣ затосковалъ крѣпко... гдѣ ласковость прежняя, добродушіе веселое! ходитъ угрюмый; все ему не по нраву, все не по немъ... отъ работы отбился...

«Что, Ѳедя? что голубчикъ?» спрашиваю.

— Да что, тетушка! тоска меня одолѣваетъ... просто, свѣтъ бѣлый не милъ!

«Чего тоскуешь-то, Ѳедя? Тебѣ ли тосковать? ты ли не молодъ, не пригожъ?»

— Правду, тетушка, Маша говоритъ: горемычное наше житье!

«Что жь, Ѳедя! слезами моря не наполнить!»

— Да и слезъ-то не уймешь, — отвѣтилъ.

Думала я, думала, чѣмъ бы горю помочь, да и надумала.

«Ѳедя», говорю, «пора тебѣ жениться, давно пора дружочекъ. Коли тебѣ свои дѣвушки не по сердцу, поѣхалъ бы ты на Дерновку, поглядѣлъ — тамъ невѣсты славныя!»

— Дерновскіе всѣ вольные, — отозвалась Маша.

«Что жь что волные? говорю. Развѣ вольныя не выходятъ за барскихъ? Лишь бы только имъ женихъ нашъ приглянулся».

— Еслибъ я вольная была, — заговорила Маша, а сама такъ и задрожала, — я бъ, говоритъ, лучше на плаху головою!...

«Ужь очень ты барскихъ-то обижаешь, Маша!» проговорилъ Ѳедя, и въ лицѣ измѣнился, — «они тоже вѣдь люди Божіи, только что безчастные!»

Да и вышелъ съ тѣмъ словомъ.

«Маша, говорю, дитятко! что ты ему все въ уши жужжишь! запечалила ты его»...

— Есть у Ѳеди свои глаза, свои уши, тетушка; самъ онъ свою бѣду узнаетъ. А ты-то, тетушка, будто не плачешься на свою судьбу? Сладко тебѣ живется, что ли?

«Эхъ, дитятко! поплакала, погоревала я на своемъ вѣку — будетъ съ меня! я ужь ни зачѣмъ не гонюсь,

стара ужь я, немощна — мнѣ бъ только уголокъ теплый, да хлѣба кусокъ, — и довольна я! Не сокрушайся, — говорю, — моя желанная! что пособишь-то? Развѣ что вѣку своего не доживешь!»

— Да хоть и умру, — промолвила. Что тутъ-то мнѣ? на свѣтѣ-то?

Тоскливо такъ поглядѣла и руки заломила. Поди, сговори съ нею! ты ее развеселить хочешь, а она тебя скорѣй запечалитъ...

XI.

А Ѳедя все сумрачнѣй да угрюмѣй, а Маша въ глазахъ у меня таетъ... слегла... Одинъ разъ я сижу подлѣ нея — она задумалась крѣпко, вдругъ входитъ Ѳедя бодро такъ, весело: «здравствуйте!» говоритъ. Я-то обрадовалась: «здравствуй, здравствуй голубчикъ!» Маша только взглянула — чего молъ, веселье такое?

«Маша! говоритъ Ѳедя, — ты умирать собиралась, молода еще видно ты умирать-то!» Самъ посмѣивается. Маша молчитъ. «Да ты очнись, сестрица, да прислушайся! я тебѣ вѣсточку принесъ».

— Богъ съ тобою и съ вѣсточкой! отвѣтила. Ты себѣ веселись, Ѳедя, а мнѣ покой дай.

«Какая вѣсточка, Ѳедя, скажи мнѣ?» спрашиваю.

— Услышишь, тетушка милая! — и обнялъ меня крѣпко-крѣпко и поцѣловалъ. — Очнись, Маша! — за руку Машу схватилъ и приподнялъ ее. — Барыня объявила намъ: кто хочетъ откупаться на волю — откупайся...

Какъ вскрикнетъ Маша, какъ бросится брату въ ноги! цѣлуетъ и слезами обливаетъ, дрожитъ вся, голосъ у

ней обрывается: «откупи меня, родной, откупи! Благослови тебя Господи! милый мой! откупи меня. Господи! помоги же намъ, помоги!»

Ѳедя-то самъ рѣкою разливается, а у меня сердце покатилось — стою, смотрю на нихъ.

— Погоди жь, Маша, — проговорилъ Ѳедя, — дай опомниться-то! обсудить, обдумать надо хорошенько!

— Не надо, Ѳедя! откупайся скорѣй... скорѣй, братецъ милый!

— Помѣхи еще есть, Маша, — я вступилася, — придется продать почитай послѣднее. Какъ, чѣмъ кормиться-то будемъ?»

— Я буду работать... братецъ! безустанно буду работать... Я выпрошу, выплачу у людей... Я закабалюсь куды хочешь, только выкупи ты меня! родной мой, выкупи! я вѣдь изныла вся!... Я дня веселаго, сна спокойнаго не знала!... Пожалѣй ты моей юности! я вѣдь не живу — я томлюсь... Охъ, выкупи меня, выкупи! иди, иди къ *ней*...

Одѣваетъ его, торопитъ, сама молитъ-рыдаетъ... Я и не опомнилась, какъ она его выпроводила... Сама по избѣ ходитъ, руки ломаетъ... и мое сердце трепещетъ, словно въ молодости, — вотъ что̀ затѣвается! Трудно мнѣ было сообразиться, еще труднѣй успокоиться...

Ждемъ мы Ѳедю, ждемъ, не дождемся! какъ завидѣла его Маша, горько заплакала, а онъ намъ еще издали кричитъ: «слава Богу!» Маша такъ и упала на лавку, долго, долго еще плакала... Мы унимать: «пускай поплачу», говоритъ, «не тревожьте; сладко мнѣ и любо, словно я на свѣтъ Божій нарождаюсь съизнову!... Теперь мнѣ работу давайте. Я здорова... Я сильная какая, еслибъ вы знали!»

XII.

Вотъ и откупились мы. Избу, все спродали... Жалко мнѣ было покидать, и Ѳедѣ сгрустнулось: садилъ, ростилъ, — все прощай! Только Маша веселая и бодрая— слезки она не выронила. Какое! словно она изъ живой воды вышла — въ глазахъ блескъ, на лицѣ румянецъ; кажется, что каждая жилка радостью дрожитъ... Дѣло такъ и кипитъ у нея... «Отдохни, Маша!»—«Отдыхать? я работать хочу!»—и засмѣется весело... Тогда я впервые узнала, что̀ за смѣхъ у нея звонкій!... То Маша бѣлоручкой слыла, а теперь Машу первой рукодѣльницей, первой работницей величаютъ. И женихи къ намъ толпой... А барыня-то гнѣвалась—Боже мой! Сосѣди смѣются: «холопка глупая васъ отуманила! она нарочно больною притворилась... Вѣдь вы небось даромъ почти ее отпустили?» Барыня и въ правду Машей не дорожилась.

Поселились мы въ избушкѣ ветхой, въ городѣ, да трудиться стали. Богъ намъ помогъ, мы и новую избу срубили... Ѳедя женился... Маша замужъ пошла... Свекровь въ ней души не слышитъ: «она меня словно дочь родная утѣшаетъ: что это за веселая! что за работящая! больна съ той поры не бывала».

Ѳедю тоже Богъ благословилъ: живетъ съ женою согласно, и я при нихъ живу, дѣтушекъ нянчу. Два сынишка у него такіе живчики...

3

КАТЕРИНА.

I.

Ни нажить ужь намъ такой знахаркп, какъ покойница Даниловна! Сколько людей за нее Бога молятъ! Кто ее зналъ — благословляетъ, кто только слыхалъ про нее — и тотъ благославляетъ. Такъ ужь изъ рода въ родъ ей почетъ идетъ.

А я-то вѣдь взросла вмѣстѣ съ нею. Она была изъ чужой стороны къ намъ завезена. Досталась нашему барину гдѣ-то далеко вотчина, вотъ и поѣхали они съ барыней, пробыли тамъ мѣсяца два и привезли съ собой оттуда дѣвочку Катю, сиротку, такъ — лѣтъ, можетъ, десяти. Чудна показалась намъ та дѣвочка: не то, чтобы приласкаться, ступить она не умѣетъ, въ платьи путается, а говоритъ какъ-то мудрено, не по нашему.

Насъ у барыни цѣлая орда дѣвченокъ была; мы, бывало, и посмѣиваемся между собой: какую это диковинку намъ привезли! Разспрашиваемъ у ней о томъ, о семъ, — она только пугливо осматривается; разсказать ничего не хочетъ. А ужь какъ окружимъ ее да пристанемъ крѣпко, — она вырвется отъ насъ, или станетъ да руки ломаетъ себѣ...

Бывало, барыня въ гости поѣдетъ, — мы ее кличемъ погулять, побѣгать съ собою; не идетъ съ нами, а бѣжитъ одна къ курганчику, что подъ лѣсомъ; тамъ сядетъ и сидитъ... И звала она тотъ курганчикъ *могилою;* мы ее завѣряемъ: «Не могила это: тутъ никто не хороненъ». А она намъ: могила! и рукою поведетъ по тому курганчику, и опять могила, да и все тутъ. Смѣялись мы, смѣялись, да послѣ и сами прозвали курганъ могилою.

А насъ все дичится, мы ее и ласкали, и голубили, а тамъ и досадно намъ стало, что за нашъ привѣтъ нѣтъ отъ нея никакой ласки,—и стали мы ее гнать да гнать... Глупыя были мы дѣти, нежалостливыя!

II.

Примѣтили мы, что она каждый вечеръ ускользнетъ въ барынину спальню и сидитъ тамъ, еще и дверь притворитъ; а чуть заслышитъ, что господа изъ гостиной идутъ, выбѣжитъ... «Что она тамъ дѣлаетъ?» думаемъ. И сговорились мы: «Подкрадемся да подсмотримъ!» Такъ и сдѣлали. И видимъ мы — горитъ въ спальнѣ лампадка передъ образами и свѣтитъ въ окно полный мѣсяцъ, а Катя сидитъ на полу, спустила съ одной руки платье и глядитъ на бѣлый рукавъ свой, на сорочку, — а рукавъ вышитъ и выстроченъ; глядитъ да такъ задумается, такъ задумается! только изрѣдка слезинка скатится по щекѣ... И лампадка на нее свѣтитъ, и полный мѣсяцъ, а она перебираетъ пальчиками рукавчикъ свой шитый... Мы ухнули на нее — и не дослышала; а какъ съ хохотомъ вбѣжали, испугалась и заплакала, и сказала по своему намъ: «Не трогайте вы меня!»

Жалко мнѣ ее тогда стало; я обнимаю ее, а она меня тихонько отталкиваетъ, отталкиваетъ....На ту пору пришла барыня: «Кто смѣеть въ спальнѣ сидѣть?» Пригрозила, накричала и узнала что̀ было. Досталось намъ, а еще пуще Катѣ!

Съ тѣмъ поръ мы и проходу ей не даемъ: все тѣмъ рукавомъ смѣемся. Она молчитъ. И послѣ того не видали мы у ней рубашки. Не знаю, куда она ее дѣла; мы думали, не сожгла ли.

III.

Прожила она у насъ зиму. — Учила ее ключница работамъ разнымъ. Она слушалась да толку-то что-то мало выходило — плохо понимала. Стала она что-то занемогать. Мы долго не примѣчали; а она все слабѣй, безсильнѣй становилась... Ужь не вырывается отъ насъ, не борется съ нами; а какъ схватимъ, то она только глаза закроетъ... Гдѣ же это дѣтямъ разсуждать?

Слегка Катя больна. Узнали мы, прибѣжали къ ней. Лежала она въ чуланчикѣ подъ лѣсницею, и присматривала за ней ключница. Посмотришь на нее — словно восковая, прозрачная стала такая. Возмешь за руку, пустишь, — рука падаетъ. Когда бъ не глаза ея горящіе, блестящіе, подумали бы мертвая.... Да остались только отъ прежней красы брови черныя, такія, какъ шнурочекъ...

Мы пришли къ ней и молчимъ, и она молчитъ. Посидѣли такъ, и ушли, и что-то намъ скучно безъ Кати стало....

IV

Утихла но погода, перешли дожди весенніе, потеплѣло, зазеленѣло, разцвѣло. Легче стало Катѣ немножко, и просится она у ключницы погулять. Выпросилась и прямо къ тому курганчику, что могилою звала, прямо туды пошла. А какъ выздоровѣла, мы опять на нее напустились, опять ссориться съ нею стали, насмѣхаться... А Катя каждый день ходитъ да ходитъ къ той могилѣ. Мы и вздумали опять ее подстеречь да испугать; и какъ она пошла, мы другою дорогою туда же побѣжали. Курганчикъ тотъ густою, зеленою травою заросъ, да высокою такою! а тутъ кругомъ лѣсъ — дубъ и береза. Вотъ мы ползкомъ поближе подобрались, смотримъ — лежитъ Катя, покачивается тихонько и какую-то пѣсенку поетъ, да такъ тихо, такъ жалобно, словно слезы горькія выливаетъ... Покачивается, будто въ люлькѣ, и поетъ:

Ой ты, коте, коточекъ,
Не ходи ты рано въ садочекъ...

Мы слушаемъ... Пѣла она и про голубей, и про пташекъ зозуль воркующихъ, и про сестеръ, и про братьевъ. Пѣла — мы заслушались; сидимъ, а Катя все поетъ да поетъ... А какъ подошли мы къ ней, голосъ ея замолкъ, испугалась, поблѣднѣла. Мы ее цѣловать стали, и просимъ ее: «Скажи намъ», просимъ, «гдѣ твоя сторона далекая? и какая она? разскажи!»

Она только вздрогнула.

«Ну, скажи намъ», всё ее просимъ, «всѣ тамъ говорятъ, какъ ты? У всѣхъ рукава вышитые? Всѣ эту пѣсенку знаютъ? И насъ выучи этой пѣсенкѣ!»

Она взглянула на насъ, да какъ заплачетъ! Опять взглянула и на насъ, и вокругъ на лѣсъ, на поля, махнула рукой и внизъ лицемъ упала, рыдаючи...

. . . . . .

V

А на утро ужь не встала она: горитъ вся и несвязныя рѣчи лепечетъ... То вдругъ поднимется, какъ здоровая, сядетъ, склонитъ голову на руку и запоетъ пѣсню... И пѣсня поется, и слезы у ней рѣкой льются... Весело и тихо поетъ, и вдругъ воскликнетъ, словно отъ боли жгучей, и поднимается, и глядитъ на насъ яснымъ, яснымъ взглядомъ.... ажно жутко намъ станетъ!...

Велѣла барыня перевести ее въ людскую, и шесть недѣль она проболѣла. Приходила въ память, да все какъ-то не въ полную память: смотритъ кругомъ, и никого будто не узнаетъ... И съ годъ вотъ такъ-то она промучилась. И полегчаетъ, кажется, а тамъ опять бредитъ, и опять томится...

VI

А какъ ужь пришла она къ намъ послѣ недуга, мы ее и не узнали: высокая-высокая стала, да тонкая, да худенькая. Румянецъ пропалъ, и глаза какъ-то потухли. Тише она стала и суровѣе. Одинъ разъ мы попробовали ее по прежнему подразнить, и больше ужь никогда не пробовали. Она ужь не рвалась и не кипѣла, какъ прежде, а сказала намъ только: «Что вамъ надо?

Я васъ не трогаю, — не трогайте же меня!» И спокойно такъ сказала, и поглядѣла на насъ спокойно... Цѣлый, бывало, день она работаетъ, и слова не проронитъ.

Барыня ее любить стала: «Вотъ у меня работница», бывало, гостямъ хвалится, «прилежная такая и умная!»

Ни шутки отъ ней, ни пѣсни мы ужь не слыхали. Просили ее сколько разъ: «Спой ты намъ ту пѣсенку, что ты ходила на могилу пѣть!»

«Я не помню», отвѣчала, «не знаю».

А сама любила слушать, какъ поютъ. Молчаливая была и непривѣтливая; а, бывало, скажетъ: «Пойте, дѣвушки, пойте!» — Сами мы не знали, какъ это мы ее слушались такъ безотговорочно. Проситъ «пойте» — мы и пѣть станемъ.

А она ужь чисто говорила, и по своему, вѣрно, отвыкла, забыла...

VII

Мы ее бояться стали... Припомнили все прежнее, что за чудная она была изначала... А еще больше страхъ навела на насъ она, какъ стала бродить по полямъ, по лѣсамъ, да травы, да цвѣтки сбирать... Дождется праздника, пошлютъ насъ по ягоды, или по грибы господамъ, а она только слава, что ходитъ съ нами. Горсточки и той не наберетъ, а травъ да цвѣтовъ полны руки. Мы, бывало, замѣчаемъ втихомолку за нею: то стоитъ, на небо смотритъ, то въ воду глядитъ. Подойдетъ къ древу — каждый листочекъ, кажется, милъ ей; по полю, по лѣсу ли ходитъ — ко всему приглядывается, прислушивается и, кажется, оживаетъ она. Вотъ будто ей и

весело, и грусть беретъ, и будто ей чего-то плакать хочется...

VIII

Еще два года жила она съ нами, всё такая же; потомъ барыня отдала дочь замужъ, поѣхала гостить къ молодымъ и Катю съ собой взяла. Мы какъ прощались съ нею, очень плакали, а она не плакала, только печальна была и цѣлую ночь гдѣ-то проходила; до свѣту пришла и много цвѣтовъ, много травъ принесла.

Вотъ уѣхала она съ барыней, и долго потомъ я ея не видала. Барыня наша заболѣла, прохворала цѣлые два года и умерла тамъ. Во все это время мы лишь изрѣдка, бывало, что̀ послышимъ объ Катѣ. Прикащикъ туда ѣздитъ, такъ вотъ онъ и разсказываетъ. Слышалъ — замужъ ее отдали тамъ, да говорили еще, что отдали-то силою. А она осталась такая жь, какъ и прежде была, и отъ мужа въ лѣсъ бѣгаетъ. И смѣялись надъ ней.

Вотъ это однимъ лѣтнимъ вечеромъ сидимъ мы да говоримъ себѣ, и тихо такъ вездѣ. Вдругъ колокольчикъ! Все ближе да ближе... Видимъ — летитъ карета прямо къ крыльцу. «Господа! господа!»

Выходятъ они, и за ними женщина вышла... Катя! Мы обрадовались, цѣлуемъ ее, обнимаемъ, осматриваемъ, что̀ изъ нея за человѣкъ вышелъ. Она ласково намъ отвѣчаетъ... Но все чудное что-то было въ ней... Смотришь на нее, и кажется тебѣ, что только она и выросла, и разуму дошла, а что ты-то дитёй осталась передъ ней, что не ровня ты ей...

IX

И мужъ ея пріѣхалъ.

Съ мужемъ она жила не очень согласно; а онъ ее крѣпко любилъ и часто, бывало, плачется на нее, что вотъ жена меня не любитъ! А она хоть бы слово ему какое утѣшное сказала: опуститъ только глаза и неподвижная такая, строгая и суровая... Онъ глянетъ, вздохнетъ и усмирится сейчасъ же. А какъ ея нѣтъ, то онъ разсказываетъ да горюетъ: «И за что̀ я люблю ее? за что̀? Не стоитъ она! И ужь какъ я молилъ ее: люби. Чего же дождался? — Ты, говоритъ, меня силою взялъ; у тебя правды Божьей нѣтъ; ты меня, говоритъ, словно товаръ какой присвоилъ. А я ее взялъ, оттого, что я жить-то безъ нея не могъ!» И жалко его бывало, какъ слушаешь; а какъ ее увидишь, то отчего-то вдругъ охолодѣешь къ нему. «Бѣдный человѣкъ!» скажешь только.

А она-то вѣдь никогда не жаловалась никому, и никто не посмѣлъ спросить, пожалѣть въ глаза; только развѣ пѣсню подслушаемъ. Какъ ужь она пѣвала! Господи, какъ пѣвала! Душа твоя томится и рвется, бывало, слушаючи. Тяжело тебѣ, а все слушалъ бы. Вотъ разскажу вамъ, были мы на одной свадьбѣ съ нею, и женихъ и невѣста круглыя сироты. Тамъ и пѣли и величали, а Катерина только глядѣла на молодую, и словно ей жаль ея стало. Вдругъ она запѣла, опустивши голову на руки; запѣла она, затужила. Все утихло; всѣ смолкли. Разряженные гости, что и стояли, и сидѣли, смѣялись да шутили, словно окаменѣли; у всѣхъ голова склонилась, и слезы въ три ручья потекли. И этакъ тихо стало: только

ея голосъ разливается, да рыдаютъ молодые... А она закрыла лице свое бѣлыми руками да все поетъ, и, кажется, перестать было не въ ея силѣ: пѣлось ей! А какъ ужь она вымолвила:

Снарядить-то ее есть кому,
Благословить-то ее некому!

и женихъ и невѣста безъ памяти упали. Было въ ея пѣснѣ что-то нечеловѣческое. А пѣсня-то вся такъ пѣлась:

Ахъ ты, рѣчка, рѣчка быстрая!
Что течешь ты, не колыхнешься,
На крутой берегъ не взóльешься?
Ахъ ты, дѣвица-красавица!
Что сидишь ты, все кручинишься,
Говоришь ты, не усмѣхнешься?
«Отчего же мнѣ веселой быть,
На чтó глядячи, мнѣ утѣшиться?
Какъ и всѣ-то гости съѣхались...
Только нѣтъ-то мого батюшки,
Государыни моей матушки.
Вы, сестрицы мои, подруженьки!
Вы, подите въ церковь Божію,
Вы ударьте трижды въ колоколъ,
Разбудите мого батюшку,
Государыню мою матушку;
Разбудите и скажите имъ —
Что теперь-то мнѣ ихъ надобно:
Снарядить-то меня есть кому,
Благословить-то меня некому!»[1])

[1]) Записана авторомъ въ послѣдствіи отъ самой Катерины.

Съ той поры ее, бывало, первую на свадьбу просятъ: «Запой ты, Катерина, дай намъ поплакать!» Такъ, бывало, и говорятъ. И она безъ отговорки стала ходить. Бывало, рада такъ, что еще за день у ней глаза блестѣть станутъ и голосъ все дрожитъ.

На свадьбѣ, ужь извѣстно, вино пьютъ; вотъ и она привыкать къ нему стала. А въ первый разъ, вотъ какъ это было. Былъ у насъ въ деревнѣ одинъ горемычный человѣкъ; звали его Михайла. У него жена умерла, дѣти умерли, обѣднѣлъ онъ и съ горя пить сталъ. Вотъ былъ онъ на свадьбѣ вмѣстѣ съ нами и слушалъ, какъ Катерина пѣла, и очень онъ плакалъ горько. Налилъ вина, подошелъ къ ней: «Выпей», говоритъ, «выпей, сердечная, — полегчаетъ!» Она подняла глаза, посмотрѣла на него, а онъ все плачетъ, все проситъ: «выпей!» Взяла она и выпила.

Не даромъ вѣдь говорятъ, что въ винѣ горе топится, а оттого-то пьется вино, оттого-то и жаждется горемыкамъ. Втянулась въ него Катерина; и сами мы не замѣчали, да какъ-то разомъ глаза у всѣхъ открылись потомъ. Она, бывало, прежде напоется, а тамъ ужь и пить станетъ.

Я разъ и говорю ей тихонько на пиру: «Катерина, голубушка! не пей ты много: тутъ чужіе люди есть — осудятъ тебя; лучше ты спой намъ»!

«Ахъ, вы люди безжалостные!» отвѣтила горько: «все вамъ пой да пой, — отдохнуть не дадите! Дайте отдохнуть, дайте выпить вина забывчиваго!»

И бывало ужь какъ выпьетъ, не поетъ больше, а такъ, словно дремлетъ. Жалко было смотрѣть на нее.

X

Дѣтей она любила. Бывало, сама придетъ и сидитъ между ими, и все будто ей жаль ихъ. Смотритъ-смотритъ, и по головкѣ погладитъ, другаго за подбородокъ возметъ, или за ушко.

И дѣти ее любили. Сказки имъ, бывало, сказываетъ, и чудно станетъ, глянувши на нихъ. Дѣти и веселы, и боятся, ушки насторожили, слушаютъ, жмутся къ ней сами, а она разсказываетъ-расказываетъ. Мы, бывало, и сами подберемся, слушаемъ. Случается, что она и не замѣтитъ, глаза горятъ, а рѣчь-то, рѣчь-то льется! Слово изъ души вылетаетъ и въ душу просится живое слово!

И никогда она одинаково не разскажетъ, бывало, никогда. Дѣти и говорятъ ей: «Нѣтъ, нѣтъ», кричатъ, «забыли тетушка: тогда вотъ такъ разсказали (часто она все объ Ивасѣ Безродномъ разсказывала), а теперь, видно, забыли».

«Дѣтки!» молвитъ, а сама глядитъ своими очами яркими и проникающими, «тотъ Иванъ Безродный умеръ; у меня другой народился!»

Дѣти смѣются, бывало; а намъ взгруснется по ней: въ полномъ ли умѣ-разумѣ она?

XI

Жила у насъ въ сосѣднемъ селѣ одна старушка дряхлая, одинокая, и была она знахарка превеликая. Вотъ и

разскажи кто-то Катеринѣ, какія старушка та чудеса дѣлаетъ, какъ болящіе изцѣляются у ней, и какъ всѣ за совѣтомъ къ ней бѣгутъ. Катерина задумалась, а на другой день пошла къ знахаркѣ и пробыла тамъ долго, долго.

Приходитъ — барыня гнѣвается: «Какъ смѣла безъ спросу уйдти!» грозитъ и кричитъ. А та слушаетъ, и всё о чемъ-то думаетъ-думаетъ.

И съ того дня стала она такая ласковая, такая привѣтная. Бывало, какъ одна сидитъ да глянешь — суровая и строгая, словно осуждаетъ кого; чуть услыхала голосъ чей, увидала кого, — сейчасъ усмѣхнется и глянетъ ласково.

И пить бросила. Мы думаемъ: «Слава Богу! слава знахаркѣ, — вылѣчила!»

XII

Заболѣла у насъ дѣвочка. Катерина и говоритъ ея матери: «Полѣчу я вашу дочку!» Та молчитъ, — боится говорить.

А Катерина: «Не бойся, не бойся! Я знаю, чѣмъ ее лѣчить, и вылѣчу».

«И вдругъ я ей повѣрила», говорила потомъ женщина та, «отдала дочку, — она и вылѣчила. Ночи надъ нею просиживала вмѣстѣ со мною, да еще, бывало, я истомлюсь, забудусь, а проснусь — она всё не спитъ, всё на мою дочку глядитъ»...

Вылѣчила она другаго, третьяго и стала ужь всѣхъ лѣчить на деревнѣ. И по чужимъ ее селамъ даже брали, — вездѣ она помогала.

Взяли ее разъ куда-то далеко къ болящей. Барыня всегда ее отпускала и любила, когда ей, бывало, Катерина гостинчикъ какой привезетъ, хоть калачикъ, что ли. Ну, еще и то, что всѣ ей кланялись за Катерину и ублажали ее. А она можетъ и пустить, можетъ и не пустить, — въ ея волѣ... Вотъ была Катерина въ отлучкѣ, а я тогда и заболѣй: грудь у меня ноетъ, знобитъ меня и горю, — тяжело приходится. Надумала матушка: «Повезу я тебя хоть къ старухѣ; она еще лучше Катерины лѣчитъ».

XIII

Пріѣхали мы туда. Избушка стоитъ; крыша взъерошенная; двери скрипливыя. Вошли — крошечная старушоночка лежитъ да охаетъ. Я гляжу на нее пристально — дряхлая, чуть живая.

«Бабушка, помогите!» говорю.

«Помоги мнѣ, Господи, да прибери скорѣй!» простонала. «Я давно ужь изъ ума выжила, дитятко!»

«А вотъ», говорю, «вы нашу Катерину-то вылѣчили, — какъ рукой сняли».

«Чудна ваша Катерина!» отвѣчаетъ. «Приходитъ ко мнѣ, спрашиваетъ: «какъ мнѣ на свѣтѣ жить?» А сама во всѣ глаза глядитъ на меня, — перепугала. «Живи, касатка, какъ люди», говорю. — «Нѣтъ, скажи, какъ мнѣ жить, мнѣ!» — «Сядь-ко», говорю, «да перекрестись, да молитву прочитай: на тебя напущено». Она сѣла, перекрестилась и заплакала. А тутъ у меня травы висятъ по стѣнамъ, и на окнѣ на солнушкѣ сушились. «На что тебѣ травы столько?» спрашиваетъ. «Людямъ по-

могаю».—«Помоги же и мнѣ, родная!»—«Да что̀ у тебя болитъ-то? скажи!» — «Душа моя болитъ!» проговорила тихо, а у самой слезы потекли. «А голова не болитъ?» — «И голова болитъ, и вся я больна!» Вотъ я ей травку даю; она поклонилась и пошла. — Я было вздремнула, слышу — опять стучатся, опять она. «Что̀ тебѣ?» — «Научи меня, родная, какими ты зельями лечишь?» Я разсердилась и гоню ее, а она ужь такъ-то плачетъ, разливается: «Не научишь, то убей меня тутъ! все равно я пропаду... я вотъ, говоритъ, ужь сколько маялась на свѣтѣ — все пусто да пусто, никого не радую, и никто меня не веселитъ, и дѣла у меня нѣтъ душевнаго ни какого». Я думаю — дурѣетъ она, а жалко мнѣ ея. Я тамъ и показала ей кое-что, больше для утѣхи ей. «Гдѣ жь», думаю, «гдѣ ей запомнить!» А она вѣдь запомнила все. Начала, слышу, ужь сама лѣчить. Досадно мнѣ и обидно было, что она у меня кусокъ хлѣба отбиваетъ. Разъ она пришла, и полны руки травъ. Я ее неласково встрѣчаю, а она словно не видитъ. «Знаешь эти травы, бабушка?» — «Не знаю», говорю, «да и знать-то не хочу». — «Нѣтъ», говоритъ, «ты возьми. Я тебѣ это принесла. Полезныя травы, цѣлющія!» — «Ты на чемъ ихъ испробовала-то, что ручаешься?» — «Да на себѣ, бабушка». — «Какъ на себѣ?» — «А такъ», говоритъ: «вѣдь я прежде-то всегда сама попью; не свалитъ, — тогда и людямъ даю». Удивила она меня, ей Богу! А говоритъ-то вѣдь такъ, что сердце ей вѣритъ. И вотъ съ той поры она мнѣ травы-то всякія носитъ. Спасибо ей, не обидѣда меня за мою науку».

XIV

Мало помогла мнѣ старушка. Катерина пріѣхала — вылѣчила. Она, бывало, только за голову возьметъ, тихо да нѣжно, бережно такъ, и то ужь полегчаетъ тебѣ.

И всегда она прежде, бывало, спроситъ: «Нѣтъ ли печали у тебя на сердцѣ? Разскажи мнѣ».

Я и говорю ей разъ: «Что̀ разсказывать-то? чужая печаль никому не горька, чужая бѣда никому не разумна!»

«Ужь мнѣ ли не разумна?» отвѣтила, «мнѣ ли не горька? Нѣту на свѣтѣ бѣломъ, нѣту мнѣ чужой печали, — всѐ моя печаль. Пожила бы ты съ мое — узнала бы!»...

Удивилась я, слыша такую рѣчь и промолвила: «А мужъ-то твой?»

Она не разсердилась, нѣтъ! Только подумала немного и сказала: «И его печаль — моя печаль, да не мое дѣло помочь ему!... Не своей волей за бѣду я ему стала; а у него воля была неразумная».

XV

Кажись, спокойна она стала, довольна стала, а не по днямъ, по часамъ разрушало ее... Посѣдѣла вся, и глубокія морщины такія по высокому челу легли... А все сказки сказывала, все пѣла по прежнему, — еще лучше, кажись!... Бывало, плачешь-плачешь, и еще плакать хочется, слушаючи...

А какъ она захворала, сколько людей собралось къ ней! плачъ-то какой! горя-то сколько! Мужъ любилъ ее сильно; самъ на человѣка не похожъ сталъ; плакалъ надъ ней, бывало, по цѣлымъ часамъ, — убивался-то какъ!

Она все молчала и смотрѣла на всѣхъ, словно задумавшись. Разъ только, передъ смертью ужь, проговорила, будто себя не помня: «Люди вы бѣдные! люди вы горемычные!»

4

САША.

I

Я ее давно, давно знаю: мы изъ одной деревни; вмѣстѣ въ куклы игрывали. Ужь какая она была искренняя, какая сердечная дѣвочка, скажу вамъ! Какъ подружится съ кѣмъ, полюбитъ — рада душу отдать; въ глаза смотритъ; пожелай чего-нибудь я — угадаетъ, угодитъ. Мы съ ней слюбились крѣпко. Бывало, она мнѣ все свое отдаетъ, и не прошу — сама отдаетъ: и куклы, и сережки свои, все, все, да только улыбается сама, на меня глядя.

Дѣвочки другія и начнутъ дразнить ее, подсмѣиваться: «Раздарила, теперь у самой ничего нѣту!»

А постарше, тѣ ее бездомовницею называютъ: — «Вотъ», говорятъ, «будетъ изъ тебя хозяйка путная! соберешь домокъ!»

И мать ей часто за это выговаривала и грозила; а оно всё только усмѣхается.

«Ну, не жалко тебѣ раздавать-то все?»

«Чего жалко? Я ее люблю, — что жь тутъ жалѣть? Не жалко?....

II

Намъ пошелъ пятнадцатый годъ — однолѣтки мы съ нею — какъ вышла наша барышня замужъ. А была наша барышня ужь не въ первомъ цвѣту. Много книжекъ читала, и нравомъ была строптива: на сосѣдей косилась, на людей гнѣвалась. Жениха не находилось ей, дружбы ни съ кѣмъ не водила. Худѣла да желтѣла надъ книжками.

Лѣтъ ужь ей за тридцать было, когда пріѣхалъ ея братецъ въ гости изъ губерніи, а съ нимъ высокій баринъ, этакой круглолицый да видный изъ себя, спокойный, довольный; все поглаживаетъ себя рукою по подбородку да расхаживаетъ съ трубкою мѣрнымъ шагомъ.

Первые-то дни барышня хоть и понаряднѣй пріодѣлась, да въ разговоры съ пріѣзжимъ гостемъ не пускалась; а онъ поклонится утромъ, спроситъ о здоровьи, и ею тожь не занимается.

Баринъ только часто на нихъ поглядывалъ (этакіе у него глазки были пронзительные, узенькіе, черные; лукавый очень видъ имѣлъ и хитрый), поглядывалъ, да вечеркомъ разъ, обнявши сестрицу, долго съ нею по комнатамъ ходилъ и всё о чемъ-то толковалъ-толковалъ, словно совѣтовалъ, образумливалъ.

Барышня задумчива пришла въ свою комнату, и долго думала она, думала и вздыхала...

Съ той поры она ласковѣй съ пріѣзжимъ стала, и всё вмѣстѣ они съ нимъ и гуляютъ, и за обѣдомъ рядышкомъ сидятъ. А какъ собрался онъ выѣзжать, барышня наша тогда въ слезы ударилась. Братецъ насупился. Пріѣзжій

все это видитъ; самому ему жалко стало, не то — скучно; махнулъ онъ рукой, да и посватался.

Свадьбу сыграли не откладывая, и поѣхали молодые на житье въ губернію.

III

Молодой барынѣ захотѣлось изъ своей деревни служанку себѣ взять. «На что мнѣ чужую, когда свои есть? Чужой надо плату, да еще какая слуга попадется, — нанятую не научишь».

Выбрала она Сашу: смышленѣе, проворнѣе всѣхъ она ей показалась. Взяли Сашу и увезли съ собою... Отецъ, мать, сестры, всѣ остались; одна Саша поѣхала на чужую сторону.

Очень я плакала провожаючи. А она всё прижимаетъ меня къ себѣ: «Не забуду, не забуду тебя!»

Уѣхала она, и мало намъ вѣстей доходило. Такъ годъ прошелъ. Вдругъ недобрые слухи объ Сашѣ стали носиться. Мать хоть плачетъ, хоть тужитъ, а всё вѣрить ей не хочется. Отецъ насупился, и слова о Сашѣ своей любимой не промолвитъ. Сестры услышатъ про нея — краснѣютъ... Судятъ-рядятъ люди, а всё еще никто навѣрно сказать ничего не можетъ... Вотъ тогда-то меня потребовали къ молодой барынѣ. Шлютъ меня къ ней въ губернію.

Пришла я прощаться къ Сашину отцу, и спрашиваю: «Что прикажете Сашѣ?»

«Да не знаю и самъ, что ей приказать», отвѣчаетъ: «благословить ли мнѣ ее, или проклясть свою дочку!»

Стоитъ, руки скрестилъ и въ окошко глядитъ.

А мать со мною вышла, слезами заливается, провожаетъ за ворота. «Благословляю я! скажи ты Сашѣ, что мать благословляетъ... Скажи, чтобы Богу молилась»...

Сестры повыбѣгали себѣ за мною: «Кланяйся сестрѣ! кланяйся Сашѣ нашей!»

IV

Тяжело вѣдь отбиться отъ роду, отъ своей стороны,— кто этого не знаетъ! Ѣду я къ барынѣ да всё про Сашу думаю, и тѣмъ только утѣшаюсь: «Увижу я свою подругу вѣрную, поговорю съ нею, потужу — легче мнѣ будетъ... А Саша меня какъ встрѣтитъ? И что̀ съ нею сталось? Правда ли, что̀ люди говорятъ? И каково житье ей?» Всё дорогу цѣлую раздумываю про Сашу.

Везъ меня нашъ деревенскій старичекъ, Прохоръ, сморщеный, щедушный старичекъ; и завистливъ онъ былъ очень: что̀ бъ ни увидѣлъ въ чужихъ рукахъ, хоть тамъ палку березовую, сейчасъ вздохнетъ: «Эхъ, еслибъ мнѣ такую!» И всё, бывало, онъ твердитъ: «Эхъ-ма! когда бъ денегъ тма!» По пути мы съ нимъ села барскія богатыя проѣзжали, лѣса темные дубовые, поля широкія, — всё онъ вздыхалъ: «Эхъ-ма!» Такой чудной былъ старичекъ!

V

Мы пріѣхали вечеромъ... Наша барыня жила среди города, на широкой улицѣ. Всё дома каменные, высокіе, крыши желзныя, окна большія, и свѣтъ изъ оконъ на

улицу вырывается; передъ крыльцами фонари горятъ; по мостовой стучатъ дрожки, коляски и наша тележка тряская. Вечеръ темный былъ, время осеннее, тучи ходили — мѣсяцъ хоронили, только звѣзды яркія сверкали. Холодноватый и свѣжій вѣтерокъ повѣвалъ...

Подъѣхали мы къ бѣлому дому каменному, въ ворота постучались. Намъ отворилъ бородачъ, тучный изъ себя и приземистый, — видно кучеръ; поклонился намъ и что то проворчалъ про себя.

VI

Мы за нимъ въ избу вошли — почернѣлая, неубранная, лавки прожженыя, столы шатаются, вездѣ вода по полу разлита, зола разсыпана...

Поваръ тутъ сидѣлъ, въ бѣлой курткѣ, сгорбленный, веселый старичекъ, плѣшивый, и два парня круглолицыхъ, румяные, одинъ въ армякѣ, а другой въ курткѣ съ пуговицами блестящими. Сейчасъ всѣ они къ намъ бросились: давай осматривать, моргать, усмѣхаться. Поваръ намъ кивнулъ головою: садитесь, отдохните.

Саши нѣту; спросить про нее боюсь... Прохоръ поглядываетъ да всё вздыхаетъ. Всѣ сидимъ, молчимъ; а въ разбитое окно вѣтеръ свѣчу задуваетъ...

«Ну», заговорилъ кучеръ, «какъ же вы тамъ въ деревнѣ-то у себя роскошничаете? Несѣяную муку пожираете?» Такъ всѣ и залились хохотомъ. И пошли тогда шутки да прибаутки, и тѣшились они, и пересмѣивали насъ, сколько ихъ душѣ было угодно. Парни выходятъ изъ избы, да и говорятъ намъ: «Ну, спасибо, что пріѣхали: хоть маленько мы вами тоску свою размыкали!»

И вправду: скука ихъ одолѣла всѣхъ, такъ рады были они, хоть чѣмъ попало себя развеселить. Такія у нихъ лица были недовольныя да заспанныя, да скучныя.

VII

Я съ духомъ собралась и спрашиваю у повара про Сашу. Кучеръ услыхалъ и перебилъ.

«Ты мнѣ поклонись, да у меня спроси! Вотъ гляди-ка. (Дверь отворилъ). Видишь, коморочка противъ? Тамъ твоя Саша сидитъ, а вотъ у меня ключикъ отъ замочка». (Показалъ мнѣ ключъ изъ кармана).

Говоритъ онъ, а я смотрю — какой тяжелый замокъ виситъ на двери!... Саша ты моя бѣдняжечка!

«Что жь», говорю, «никогда она и не выходитъ оттуда?»

«Какъ можно! Ей всѣ пути скатертью, только вотъ за ворота, со двора — не прогнѣвайся!»

«На что жь ее заперли?»

«Да вотъ, когда я со двора иду, то и запираю, а то нѣтъ».

«Пустите меня къ ней», прошу его.

«Съ нашею радостью, — иди!»

Отомкнулъ, я вошла — темно, хоть глазъ выколи, тамъ. «Саша! Саша!» кличу. Тихо.

«Не ушла ли она куда?» думаю, «какъ нибудь вырвалась».

Постояла я тамъ, и опять въ избу вошла.

«Видѣла?» спрашиваетъ кучеръ.

«Видѣла», говорю.

«Радости-то, я думаю, не оберетесь, а?»

VIII

Тутъ вошла быстрая, крошечная старушонка, личико у ней остренькое, ехидное, ухватки воровскія! все заходитъ съ разныхъ сторонъ, словно выискиваетъ, гдѣ побольнѣй щипнуть. Покружила-покружила она, да и говоритъ мнѣ: «Сегодня ужь къ барынѣ тебя не поведутъ; ложись спи». И ушла.

Сѣли мы ужинать. Сашу кликали — не пришла.

Послѣ ужина всѣ спать полегли въ кухнѣ, а я сижу въ людской — не спится. Я сижу одна да думаю, да жду: «Что̀ жь это Саша не бѣжитъ ко мнѣ? И гдѣ она? Ушла ли, или мнѣ откликнуться не хотѣла?»

Шелохнулось что-то... Подниму я голову — стоитъ передо мною высокій мальчикъ, мнѣ показалось. Гляну еще — это Саша... А волосы-то у ней въ кружокъ острижены; высокая такая стала и худенькая; живые ясные глаза впали и румянецъ сбѣжалъ съ лица...

Встала я, и она стоитъ.

«Саша», говорю, «Саша!»

Такъ-то мнѣ ее жалко тогда стало!

Она ближе ко мнѣ: «Обними», говоритъ, «обними же меня да поцѣлуй!» Обнялись мы и поцѣловались крѣпко... И плакать стали пуще.

«Мать благословеніе тебѣ прислала, сестры кланяются», говорю ей.

Она вспыхнула, а разспрашивать ничего не разспрашиваетъ; да и мнѣ-то не говорилось. Сидимъ обнявшись, да изрѣдка словомъ перекинемся, житье старинное дѣтское спомянемъ.

IX

На другой день къ барынѣ меня зовутъ.

Полная она стала такая и величавая. Осмотрѣла меня съ головы до ногъ, какъ зовутъ спросила, и говоритъ мнѣ: «Смотри ты, не избалуйся. Избалуешься — косу отрѣжутъ, вотъ какъ Сашкѣ, и накажутъ строго». — Разсказала мнѣ, что̀ дѣлать, приказала, пригрозила и выслала.

И стали мы вмѣстѣ съ Сашей жить да поживать. Не красно было мое житье, а Сашино-то горькое какое! Всякъ ее урекаетъ, всякъ коритъ и смѣется.

Пуще всѣхъ донимала ее ключница: такъ, бывало, и язвитъ, словно жаломъ.

Старикъ поваръ... да и тотъ не безъ того, чтобъ чѣмъ не попрекнуть ее: онъ сердитъ бывалъ тверезый, ко всѣмъ придирается, и Богъ знаетъ за что̀. То покажется ему, что ты на него взглянулъ не такъ, то насмѣхаешься... за что-нибудь да придерется. А когда хмѣленъ, то ужь и быть нельзя ласковѣй. Всѣхъ тогда хвалитъ; а его бранятъ — уговариваютъ, что нехорошо это. «Люди, въ мирѣ живите!» говоритъ. «Не скучайте, не ссорьтесь, дѣлитесь всѣмъ другъ съ дружкою; кто хочетъ выпить — я позволяю; самъ бы ему купилъ, да все ужь пропилъ, — потерпи; а самое главное—дружно живите!» Больше всѣхъ онъ Сашу любилъ и ласкалъ, когда пьянъ бывалъ.

Одинъ только поваръ пьяный и не обижалъ ее. А то, бывало, кто чужой придетъ, — торговка ли знакомая, или сосѣдская дѣвушка, гости ли къ кому изъ людей,

либо къ ключницѣ,—всѣ-то поглядываютъ, шопотомъ спрашиваютъ, головою покачиваютъ, руками разводятъ... А она, словно обвыклась съ тѣмъ, не жалуется, не горюетъ.

X

Я ей ни слова. «Не надо ее тревожить», думаю. Да разъ вхожу въ людскую (праздникъ былъ, господъ дома не было и люди разошлись), вхожу, — печь топится, и Саша сидитъ на лавкѣ, сама въ огонь глядитъ, а слезы текутъ-текутъ...

Сѣла я подлѣ и рукой ее обняла. А она, на меня не глядя, разсказывать стала.

«Привезли меня сюда молодою, небывалою, и много я переплакала тогда... Всё, бывало, вечерами плачу... Все мнѣ чужое, все незнакомое, неласковое. Грусть-тоска была великая!... Вотъ стою я разъ на крыльцѣ, подъ вечеръ, да смотрю, да тужу; а ужь весна шла: снѣгъ осѣлъ, почернѣлъ, подъ заборомъ травка тонкая выбивалась; морозецъ еще держался: ручейки, лужицы замерзали тонкимъ ледочкомъ. Солнышко красно и багряно заходитъ... Стою — такъ вспомнилась мнѣ сторона моя милая! Господи! думаю, хоть бы словечко мнѣ кто сердечное, привѣтное сказалъ, хоть бы глянулъ! — Саша, чего заскучала? Не скучай милая! — слышу. Я сдивовалась, испугалась; гляжу — это бариновъ племянникъ молодой. Подошелъ, взялъ мою руку, пожалъ, еще на меня глянулъ и отошелъ. Испугалась я и досадно стало: что онъ, пожалѣлъ, что ли? пошутилъ надо мною, посмѣялся? Вѣдь всѣ они безъ жалости, безъ

милости... Развѣ этотъ жалостливѣй? Глаза у него точно очень ласковые мнѣ показались.

«Задумалась я и долго всё думала; тоска развѣялась даже, только тревожна душа моя... Вспомнился мнѣ тогда нашъ пріѣздъ, какъ *онъ* стоялъ передъ барыней робко, какъ мѣшался, путался въ разговорѣ за обѣдомъ... Вспомнилось, что онъ часто на меня изъ-за двери глядитъ, бывало... что работаю я около окошка— онъ ходитъ мимо и смотритъ... Въ эту ночь я и во снѣ его видѣла... Встала на зарѣ, и опять объ немъ вспомнила... и день цѣлый онъ у меня изъ головы не выходилъ... А вечеромъ я опять на крылечко выбѣжала: увижу ли его сегодня? скажетъ ли слово мнѣ? Выбѣжала, а онъ ужь тутъ стоитъ, словно ждетъ меня. «Здравствуй, Саша!» А я молчу. Стоимъ — онъ на меня глядитъ... вотъ, чую — глядитъ, а сама глазъ я не подниму, слова не скажу... Тутъ стукнулъ кто-то, мы испугались и разошлись поскорѣй.

XI

«Съ той поры каждый день я его тамъ видѣла, каждый день. Сколько разъ вѣдь зарекалась: не пойду я! не хочу! да и сама не знаю, какъ выйду. А онъ мнѣ такъ радъ бывалъ, въ глаза, мнѣ, бывало, смотритъ и всё спрашиваетъ: «Любишь ли, Саша?» А я, скажу тебѣ, я очень его полюбила, очень... Какъ стали люди замѣчать да посмѣиваться, сначала мнѣ стыдно и горько было, а тамъ — я думаю: Что жь? люди смѣются, — пускай себѣ! Я люблю его, я *его!* что жь мнѣ о себѣ думать-то? Думай онъ. Хорошо ему, весело, что смѣются —

смѣйтесь; а обидно ему покажется — самъ онъ знаетъ, что̀ сдѣлать. А я послушаюсь его слова, его приказу. Вотъ живу я себѣ и не тужу. Дома мы почти не видались: слѣдили за нами; и вотъ, бывало, куда пошлютъ меня — я ему шепну, и сойдемся гдѣ-нибудь въ глухомъ переулкѣ, подъ чужими воротами сядемъ.

XII

«Только разъ приходитъ онъ встревоженный такой.

— Саша! шепчетъ мнѣ: дядя и тётка узнали все!

«У меня сердце заныло: — Разлучить хотятъ? спрашиваю.

— Не бойся, не печалься! уговариваетъ. А на самомъ лица нѣту... Сѣли мы рядышкомъ и наплакались въ волю тогда.

— Какъ же намъ быть-то, Саша? спрашиваетъ.

— Тебѣ знать говорю: — тебѣ и рѣшать.

— Эхъ, Саша, Саша! что̀ я рѣшу! Меня тоска, меня сомнѣнье пугливое беретъ! Что̀ дѣлать—не знаю! Скажи ты»...

— Да что̀? говорю: — ужь какъ ты не надумаешь, ужь какъ ты не знаешь...

— Ты, Саша, на меня не смотри и меня ты не осуди: самъ я себѣ нерадъ, ей Богу! всё я боюсь.

— Чего жь боишься?

— Да ужь съ дѣтства такъ. Отецъ-то у меня суровый былъ и строгъ. Забилъ онъ меня и запугалъ. Вотъ и теперь еще всё мнѣ его голосъ слышится: — «Не храбрись ты ни въ чемъ: бѣду наживешь! Иди по дорожкѣ хитро да тихо — хорошо будетъ!» — Я вѣдь и тебя-то

обмануть сбирался, Саша; обмануть хотѣлъ и потомъ бросить, — ты прости меня! Не бросилъ: силъ не было, потому что полюбилъ крѣпко... Скажи, Саша, скажи, что̀ дѣлать? Мучусь я, и голова кругомъ идетъ... Охъ, Саша, еслибъ можно мнѣ было жениться на тебѣ!

— Женись, говорю.

— А люди-то что̀ скажутъ? Подумай-ка, Саша, какъ люди-то напустятся, — дядя, жена его злая еще пуще, — всѣ! всѣ родные! Заклюютъ они насъ, Саша! Умеръ бы я теперь съ радостью!

«И заплакалъ самъ.

— Ну, умремъ, коли хочешь, говорю.

«Онъ всё плачетъ. И долго плакалъ. Всталъ потомъ и увѣренно такъ говоритъ: «Нѣтъ Саша, грѣхъ умереть отъ своей руки! Будь что̀ будетъ — женюсь я на тебѣ! женюсь .. Богъ съ ними со всѣми! Что̀ они мнѣ? Чего бояться ихъ? Женюсь да и заживемъ съ тобой!»

«Поцѣловалъ меня, и веселъ пошелъ себѣ.

XIII

«Воротилась я домой — кличетъ меня ключница къ барынѣ; сама злобно посмѣивается: это она все барынѣ разсказала. Я пошла... Много тогда я наслушалася словъ всякихъ, но до сердца тѣ слова мнѣ не дошли, — не оттого ли, что ужь я знала ихъ, ожидала... Я стояла передъ барынею, слушала крикъ и грозьбу, и брань, вотъ словно то далекій колоколъ гудѣлъ... *Онъ* у меня передъ глазами носился, и все мнѣ прояснялось кругомъ.

«Цѣлую ночь ту я глазъ не свела, — думала, думала... Чего-то не передумала я тогда!

«Утромъ господа чай пили, — вошелъ онъ. Я не ждала, что такъ рано онъ придетъ къ нимъ. Я испугалась... Вижу, что и онъ не спалъ: блѣдный такой и усталый. Поглядѣлъ на меня, и тогда глаза у него блеснули, и отважный такой показался мнѣ.

«Господа удивились. Барыня неласково, сурово спросила: — Что это значитъ? откуда? зачѣмъ? —

«Баринъ всталъ и по комнатѣ сталъ ходить, потомъ опять сѣлъ.

«А онъ всё отважно имъ отвѣчаетъ: — Я пришелъ къ вамъ съ просьбою... Саша...

«А баринъ его перебилъ: — Да ну, ну, Богъ проститъ! Только смотри, чтобъ впередъ ты не глупилъ.

— Я не знаю, гдѣ совѣсть-то у твоего плямянничка! вскрикнула барыня: — Еще и разговоры объ этомъ заводитъ!

— Да вѣдь отъ покорности, душенька; хочетъ прощенье получитъ отъ тебя, говоритъ баринъ.

«И заспорили межь собою. Спорятъ, а ему сказать слова не дадутъ.

«Я-то все слышу и вижу изъ-за двери. Вижу, что онъ ужь теряется, подбѣгаетъ къ нимъ, схватилъ ихъ за руки и на колѣни самъ упалъ. — Отдайте мнѣ Сашу, отдайте!

— Какъ? что? что? и не поймутъ никакъ, что онъ говоритъ; вскочили, покраснѣли...

— Сашу отдайте! Я жениться на ней хочу!

— Жениться! кричитъ барыня. — Ты съ ума сходишь? Да ты помѣшался! Да ты пропадешь! ты погибнешь! Да тебя всякій добрый человѣкъ на порогъ не пуститъ!... Какъ ты уживешься съ простой дѣвкой, съ грубою, съ глупою?

«А баринъ куритъ-куритъ, — едва голова видна въ дыму, и всё покрикиваетъ: — Вотъ сумасшедшій! Ахъ, наказалъ Господь!

«А *онъ*: — Отдайте, мнѣ Сашу! (самъ краешекъ барынина платья цѣлуетъ и за руки ее ловитъ): — Что жь, развѣ у простой дѣвушки сердце не любитъ? Всѣ мы равны передъ Богомъ, тётинька! отдайте мнѣ Сашу! Я умру безъ нея! Безъ нея я на свѣтѣ жить не хочу!

«Слушаю я, и жалко такъ мнѣ его стало!

— Пустите! вырывается барыня: — отстаньте! Какъ вы смѣете со мною такъ говорить! Я не отдамъ дѣвку! Что хотите дѣлайте — не отдамъ! Подите прочь! прочь!

«Такъ онъ и упалъ рыдаючи. А баринъ ходитъ да куритъ, да охаетъ.

— Сашка! крикнула вдругъ барыня.

«Я вошла. Она схватила со стола ножницы и кивнула мнѣ, чтобъ я подошла къ ней — я подошла. Она рванула мои косы — и стричь меня... Одну косу отрѣзала, на другой ножницы сломала... У самой у ней руки дрожатъ — разсержена.

«Баринъ смотритъ, остановился съ трубкой. И *онъ* смотритъ на нее, на меня, да только плачетъ слезно... А мнѣ чего-то словно холодно стало, — вотъ будто какой-то вѣтеръ холодный обвѣялъ меня и все отъ меня разнесъ далеко. Велитъ барыня мнѣ разсыпанныя, раскиданныя волосы свои собрать и высылаетъ меня.

«Собрала я косы и вышла... Что же? я *его* добро; воленъ онъ былъ дать имъ меня... Только зачѣмъ же онъ отдалъ-то? . . . . . .

. . . . . .

XIV

«Барыня меня съ того время не велѣла спускать съ глазъ. Ключницѣ-то хлопотъ было! Не досыпала — все за мною слѣдила... Только я шагъ ступлю — за мной крикъ: «Куда? куда?» И долго я его не видала. Не видала, и рада тому была. Вотъ, словно бъ я его совсѣмъ разлюбила. Не то, что сердита я была, не то, что обижена, а словно разлюбила, — не надо мнѣ его...

«Барыня долго меня донимала, долго гнала; потомъ онъ ходить пересталъ — забывать стала и бросила за него нападки. А баринъ и радъ тому. Онъ только тяжелый на подъемъ человѣкъ: обидѣть ли, приласкать ли—трудно ему. Какъ ужь разсердится, то послѣ сколько дней сокрушается: «Зачѣмъ безпокоить меня? Дѣлайте себѣ, что̀ хотите—меня не тревожьте пожалуйста! Это все одно, что помѣшать обѣдать человѣку!» Барыня не такая удалась: она вспыльчива и скорая на все. «Не хочу, не хочу твоего племянника на глаза пускать!» Баринъ сейчасъ согласенъ: «Не вели пускать, душенька: хоть оно и жалко немножко, да свой-то покой всякому дороже».

XV

«Родился у меня мальчикъ,—такой крикунчикъ былъ, безпокойный! Хлопотъ мнѣ было съ нимъ много; вѣдь я невыклая была, молодая, а тутъ того нѣту, другаго нѣту; то попроси у людей, то посовѣтуйся съ людьми. Столько

мыслей, столько-то заботы мнѣ было! Кругомъ всѣ на меня глядятъ съ усмѣшкой. Кто бъ ни зашелъ къ намъ, кто бъ ни заглянулъ, — даже и обиднымъ-то словомъ не хотятъ укорить — брезгаютъ. Вотъ развѣ ключница не стерпитъ—крикнетъ. Только поваръ ласкалъ насъ, когда пьянъ бывалъ... Да, да, и заботъ было и хлопотъ! А на душѣ тогда тихо какъ-то стало, тихо...

XVI

«Однимъ вечеромъ,—я жила тогда одна вотъ въ этой самой горенкѣ, гдѣ меня замыкаютъ теперь, чтобъ дитя крикомъ не докучало людямъ, — вечеромъ сижу я, слышу — крадется кто-то, двери осторожно отворяетъ... крадится *онъ*. Глянула я, и не обрадовалась, и не опечалилась, только мнѣ будто скучнѣе стало. Исхудалъ онъ и измучился. Много говорилъ тогда, много плакалъ и ласкалъ, дитёй радовался. «Я», говоритъ, «я сегодня вѣдь цѣлый день у васъ въ сараѣ прятался, мучился: такъ видѣть тебя желалось». Я все слышу, все знаю, жаль мнѣ его, только онъ мнѣ лишній человѣкъ совсѣмъ.

«А онъ съ того вечера опять ходитъ. Какъ дитя онъ любилъ! Часто я, бывало, гляжу на нихъ обоихъ, часто. Мальчикъ очень схожъ съ нимъ уродился: такіе же глаза ласковые и обликъ весь въ *его*.

«Всё мнѣ жалче да жалче *его*, сердцемъ всѣмъ жалко стало... Бывало, я думаю-думаю, — умъ за разумъ заходитъ. И что это сталось межь нами? Онъ ли виною, я ли причиною?... Станетъ онъ, бывало, о своемъ отцѣ покойникѣ разсказывать, станетъ горевать да жаловаться, — и мнѣ отецъ его покойный примстится: суровъ

и тяжелъ, глаза у него ледяные, а грудь каменная, а голосъ у него повелительный... Сѣдъ онъ, какъ лунь, и страшенъ; и гнететъ онъ, и клонитъ дѣтскую головку безсильную все ниже да ниже... А *его* я всё себѣ дитёю представляла, словно *онъ* дитя мое, и что рубятъ тому дѣтищу руку правую... Такая тоска меня брала всегда, а всё слушать я любила про его отца покойнаго: покойникъ все предо мною застелетъ тѣнью своей, и мнѣ жалче станетъ *онъ*, милѣе...

XVII

«Захворалъ мой мальчикъ и померъ... Что̀ это жизнь-то наша, Господи! Ужь и годится ли тосковать такъ по умершемъ, какъ я тосковала? Какая жизнь человѣческая? Всё-то неладно такъ, все-то неясно такъ!...

«*Онъ* съ горя, съ печали заболѣлъ. Пошла я къ нему. Радъ былъ онъ мнѣ, какъ ужь радъ! «Пропалъ бы одинъ», говоритъ, «не зналъ какъ мнѣ быть, что̀ мнѣ дѣлать!»

«А какъ въ дверь застучали, онъ задрожалъ весь: «Кто это? откуда? что̀ дѣлать!»

«А то за мною пришли: барыня прислала. Пришли и берутъ меня отъ него, ведутъ, а онъ провожаетъ да плачетъ.

XVIII

«Привели меня, и въ другой разъ косу отрѣзали... Теперь за мной велѣно всѣмъ присматривать; а если не

время, то меня замыкать приказано. И вотъ ужь три недѣли я со двора не выходила. *Его* съ той поры не видала я. Поваръ встрѣчался съ нимъ сколько разъ, — кланяется мнѣ, говоритъ, и очень печаленъ. Черезъ него онъ мнѣ обновки, деньги присылаетъ.

«Томится душа моя, и нигдѣ душа успокою, нигдѣ душа себѣ пріюту убогаго не сыщетъ. Пріѣхала ты — безъ словъ мое сердце облегчила, безъ ласокъ поуспокоила. Спасибо, желанная ты моя!»

И такъ схватила Саша, такъ меня въ своихъ рукахъ крѣпко сжала... И вдругъ обезсилѣла и словно разбитая упала около меня. Грусть и мою-то душу сдавила. Обнимаю я ее: «Усни», говорю, «усни у меня на колѣняхъ!»

«Ахъ, какъ же уснуть-то мнѣ!» промолвила, «у меня изъ сердца будто горькій ключъ бьетъ и кипитъ и всю душу мою топитъ!

. . . . . .

XIX

Думаю я, думаю, чѣмъ пособить ей и какъ помочь, да и говорю разъ: «Саша! а схожу-ка я къ *нему* да все разузнаю, — веселѣй намъ будетъ».

«Что жь знать-то? Сходи, коли хочешь», отвѣтила. «А веселѣй, видно, не будетъ!»

«Не круши себя, Саша!» упрашиваю: — «вѣдь онъ тебя любитъ, сама говоришь; и ты его любишь, — не горюй. Разскажи только мнѣ куда идти и какъ мнѣ узнать его?»

«Да ты выйди вечеркомъ на уголъ. Вѣрно, онъ тамъ стоитъ, — меня ждетъ. А узнавай ты его по красѣ, по

виду честному... Бѣлокурый и кудрявый, шинелька черная на немъ; а походка у него тихая».

Выждала я времячко — побѣжала на уголъ, а навстрѣчу мнѣ прямо *онъ*... я сейчасъ узнала.

«Саша кланяется», ему шепнула.

Онъ вздрогнулъ и ахнулъ.

«Чья ты? откуда?»

«Я деревенская», отвѣчаю.

«Ахъ, такъ это ты пріѣхала недавно! Я знаю, все знаю, что̀ тамъ у васъ дѣлается, хоть самъ и не бываю. Что̀ мнѣ Саша велѣла?»

«Ничего, только кланяется».

«Или ужь не любитъ она меня, что и словечка не нашлось у ней посердечнѣй! Хоть отъ меня скажи ты ей, что нѣтъ ни сну, ни покою, что меня разлука сокрушаетъ!»

«Да что̀ жь ей дѣлать-то?» говорю ему: «не ея воля!»

«Ахъ, что̀ жь мнѣ дѣлать!» вскрикнулъ. «Я бъ радъ украсть ее, да какъ?»

«Какъ же украсть? Трудно», говорю, «трудно ужь теперь горю пособить. Еслибъ прежде-то вы порѣшили чѣмъ»...

«Да, еслибъ я зналъ-вѣдалъ всѣ муки да все горе я, порѣшилъ бы. А то вѣдь опомниться не успѣлъ! Накричали на меня, нашумѣли, и грозятъ, и упрекаютъ; съ толку сбили меня, отуманили! Что̀ жь Саша говоритъ?»

«Ничего объ этомъ не говорила».

«Ничего!... Сердечная дѣвушка — слава ей! Вѣрно живется весело и безъ меня, — тоска не обуяла?»

«Эхъ», говорю, «не вамъ бы на нее обижаться! За кого она теперь въ четырехъ стѣнахъ-то замкнута?»

«Какъ же быть?» вскрикнулъ. «Ну, я пойду къ дядѣ,

побѣгу... Я въ ноги имъ кинусь, молить-просить ихъ буду».

«Врядъ ли послушаютъ».

«Да я Сашу видѣть хочу! Пусть они инѣ голову снимутъ, а я Сашу увижу! Пойду!»

XX

Я испугалась: что̀ тутъ будетъ? Чтобъ еще хуже не натворилось!

Онъ торопливо такъ къ дому барскому идетъ, а я себѣ за нимъ бѣгу. Онъ къ господамъ, я къ Сашѣ бросилась. Мечусь во всѣ стороны, ей разсказываю, да своимъ умомъ раскидываю, что̀ будетъ; а она недвижно сидитъ.

«Саша! что̀ жь ты?» говорю ей. «У меня вчужѣ сердце замираетъ, а ты себѣ не шелохнешься, не шевельнешься!»

«Ахъ, милая!» отвѣтила усмѣхаючись: — «сядь да утишься: не изъ тучи громъ! Ты меня спроси, я лучше знаю — разскажу.»

«Да вѣдь онъ къ господамъ пошелъ!»

«Знаю, что къ господамъ пошелъ. И храбръ онъ, пока идетъ; а лицемъ къ лицу станетъ, руки у него опустятся — оробѣетъ. Я знаю его; повѣрь моему слову!

Я всё-таки успокоиться не могу: все жду — вотъ крикъ, шумъ, бѣготня поднимется... Но все тихо... часы идутъ... Не вытерпѣла я, прокралась къ господской комнатѣ; а тамъ ужь темно — спятъ.

Смущенная, я воротилась къ Сашѣ: что̀ же это такое?

А Саша только глянула на меня да усмѣхнулась.

XXI

На другой день Сашу шлютъ и за хлѣбомъ къ чаю, Сашу шлютъ и къ портнихѣ. Ключница рветъ все и мечетъ въ гнѣвѣ; кучеръ Сашѣ ворота настежъ растворяетъ, шутитъ съ ней; поваръ (онъ въ тотъ день тверезъ былъ), поваръ кричитъ на всѣхъ, швыряетъ дровами по избѣ... Парни хохочутъ. Я ужь не знаю, что̀ и думать.

«Саша!» говорю, «что̀ ты мыслишь? Какъ же это? его послушались, что̀ ли? Какъ же пускаютъ тебя?»

«Да, вѣрно, ублажилъ ихъ», говоритъ. «Ты не тревожься по-пустому. Люди не враги себѣ: они подумали — и уладили, себѣ не въ обиду».

«Лучше ты, Саша, заплачь», говорю.

«Видно, тебѣ слезъ-то дѣвать некуда! У меня жь не обильно», отвѣтила.....

XXII

Свидѣлась Саша съ нимъ, но веселья у ней не прибыло.

«Что̀ жь, Саша? радъ-то онъ, думаю, какъ былъ?»

«Радъ», отвѣтила.

«А сладилъ-то все это какъ?»

«Поклялся имъ, побожился, что жениться на мнѣ не женится. Присягнулъ имъ — теперь они спокойны. Пусть его утѣшается».

«Хоть и обидно», говорю, «да всё тревоги такой не будетъ. А, можетъ послѣ...

«Попусту и не надѣйся», перебила меня: «онъ пугливъ больно. Не всякую вѣдь любовь въ люди показать хочется, милая! Какъ не цвѣтно наряжена, не красно убрана, то дома, въ уголкѣ подъ лавку хоронятъ: «Сиди, любовь, утѣшай меня, а въ люди не выходи; осудятъ люди, и хозяина пристыдятъ».

«Ахъ, Саша», говорю, «онъ любитъ тебя!»

«Ахъ, себя-то самаго еще больше любитъ, скажу тебѣ».

«Нѣтъ, не грѣши, Саша. Это его, просто, обошли, отуманили; потерялся онъ; а любить любитъ. Какъ убивался по тебѣ!»

«А вотъ какъ. Мальчишка изъ чужого саду себѣ яблочко добудетъ, и бьютъ его за то, — вѣдь онъ плачетъ, а яблочко отдать не хочется. А спроси-ка ты — признаться-то стыдится».

«Всё ты, Саша, горе себѣ выискиваешь, словно имъ только и живется тебѣ».

«Какое горе! ей Богу, не горе! Такъ мысли мои».

XXIII

Всё она въ тѣхъ мысляхъ, въ думахъ да въ раздумьи, мало говорила, мало и глядѣла на что.

А онъ тровожится, спрашиваетъ ее, потомъ подозрѣвать сталъ: «Другого любишь!» И какъ онъ плакался, жаловался! какъ ее и молилъ горячо, и обижалъ горько!

«Саша, Саша!» говорю ей, «подумай ты да уладь свои дѣла. Вѣдь измучитесь вы безъ толку. Какъ онъ тебѣ покоренъ, какъ любитъ! Ну, что тебѣ не по нраву, ты прямо скажи, — просто научи его».

«На цѣлый вѣкъ не научишь, голубушка! Эта грамотка не дается ученьемъ. Нѣтъ, ужь полно мнѣ вчерашняго дня всё искать!»

«А зажили бы вы хорошо, этакъ въ любви, въ согласіи, тогда!»

«При нашей бѣдности такія нѣжности!» смѣется, а сама всё о чемъ–то мыслитъ. «Знаешь?» говоритъ опять. «Попросила бъ я смерти себѣ, да могила темна!»

«Богъ съ тобою, Саша!»

«Погоди, погоди!» перебила. «А онъ думаетъ, что я другого полюбила ... да кого же? Некого мнѣ полюбить! Не хочу, не могу... Что тратиться по–пустому? Кто скупъ, тотъ не глупъ».

И, бывало, какъ начнетъ, то ужь чего–чего она тебѣ не доведетъ!

XXIV

Господи! какой содомъ у насъ былъ тогда въ цѣломъ домѣ! Барыня съ бариномъ ссорится, что на коляскѣ прокупился; баринъ морщится да стонетъ; *наша* ревнуетъ; ключница воюетъ съ людьми. На нее, бывало, какъ найдетъ — по цѣлымъ недѣлямъ такъ и жалитъ. Поваръ, слава Богу, тогда пилъ всё, такъ веселъ ходилъ, и увѣщевалъ только, чтобъ жили мы дружно.

XXV

Саша задумчивѣй еще стала, и отъ *него* бѣгала. Никуда ее не вызовешь ни погулять, ни пройдтись.

Только въ монастырь по воскресеньямъ ходила. Потомъ и къ ней монахиня стала навѣдываться, — худая такая, хилая; ходила, на палочку опираючись, а лице этакое спокойное, ясное, — оттого, вѣрно, что всё она молитвы читала. Прибрела разъ эта монахиня, и Саша ее къ барынѣ повела. Сидѣла монахиня долго тамъ, и Сашу призывали, и барыня монахиню чаемъ угощала, и велѣла отвезти въ колескѣ въ монастырь. Спрашивала я у Саши: «Что̀ такое это?» — «Погоди», говоритъ «все узнаешъ».

XXVI

Вечеромъ вижу — Саша узелокъ связываетъ. Удивилась я, на что̀ она это дѣлаетъ!... Вижу — и рубашки туда уложила, и деньжонки свои.

«Саша, да скажи, что̀ это такое будетъ! куда ты собираешься?»

«Прощай, голубушка!» отвѣтила. «Живи — не тужи, понемножку плачь, понемножку радуйся, за чужимъ не гоняйся, а своего... Боже сохрани, — своего не трать. Помни, что глупому сыну не въ помощь богатство».

Мнѣ страшно стало: что̀ съ нею?

«Не бойся, не пугайся: я въ памяти. А иду я въ монастырь. Барыня позволила. Она боится отвѣчать за мою душу Богу, и позволила. Я завтра чѣмъ-свѣтъ иду. Ты *ему* скажи сама объ этомъ и поуспокой».

«Такая молодая!» говорю.

«Не старая, да бывалая... Да скажи ты ему еще... попроси отъ меня: пусть не тревожится... Мнѣ ужь отдохнуть хочется... Я тамъ отдохну»...

XXVII

Господи, что̀ съ нимъ творилось, какъ узналъ! Жалко было со стороны глядѣть. Я, хоть изрѣдка, а всё ходила къ Сашѣ. Она тамъ при монастырѣ служила. Такъ славно у нихъ!... Стоитъ монастырь тотъ за городомъ, на горѣ, въ лѣсу. Черезъ ограду въ монастырской дворъ деревья зеленыя свѣсились и сама ограда зазеленѣлась, замшилась. Кельи темныя, маленькія, а въ окошечко глянь — сколько цвѣтовъ цвѣтетъ! какая мурава мягкая!... Подъ горой, слышно, рѣка журчитъ; а прислушайся еще — въ городѣ колеса по мостовой стучатъ.

«Хорошо тебѣ тутъ, Саша?» спрашиваю.

«Хорошо», отвѣчаетъ.

«Покойно?»

«Покойно».

Еще нерѣчистѣе она стала. Развѣ объ *немъ* спроситъ иногда, какъ живетъ да что̀ дѣлаетъ. Я ей разъ говорю: «Саша, ты до сихъ поръ объ немъ все вспоминаешь... не грѣхъ развѣ?»

Она улыбнулась.

«Да», говоритъ, — «куда жь его хоть и грѣхъ, дѣвать? Промолчу, — развѣ простится?»

«А не жалко тебѣ его? скажи по правдѣ!»

«Нѣтъ, мнѣ ничего на жалко.»

Спрашивала я ее, что какъ это тебѣ на сердце пришло въ монастырь пойдти?

«Я часто сюда ходила, — ты знаешь, и полюбилось мнѣ. Тихо такъ тутъ, безмятежно... Я свою работу отработаю, да и сяду гдѣ-нибудь. Сижу — листья шу-

мятъ; рѣка журчитъ; птицы поютъ и порхаютъ, голосу людского не слышно мнѣ»...

XXVIII

Я сама, сколько примѣчала, ей хорошо жилось. Такъ ее хвалили всѣ въ монастырѣ. И старая монахиня, что за нее у барыни просила, очень полюбила ее: идетъ, бывало, мимо—всегда ее благословитъ. Я ужь рада, что она пристроилась, успокоилась. «Пусть ее живетъ въ монастырѣ! Хорошо ей тамъ». думаю. А она нежданно, негаданно и умри. И въ монастырѣ-то никто не зналъ: никого не покликала, а можетъ, не могла покликать. Умерла одна въ своей келійкѣ тѣсной да темной. Я была, какъ ее хоронили. Солнышко такъ было ярко, ясно... Свѣчи кругомъ гроба пылали; пламя дрожало, и солнышко играло на ея лицѣ. А такое у ней задумчивое лице было, такое мученическое!

Онъ и до сей поры ходитъ на ея могилу и всё молится тамъ. Жениться не захотѣлъ. Я его сколько разъ на могилкѣ встрѣчала. Такой печальный! «Никто ужь не повеселитъ меня такъ, какъ моя Саша покойница! Богъ судья дядѣ и тётенькѣ!»

5

КУПЕЧЕСКАЯ ДОЧКА.

I

Умерла у нашей барыни горничная дѣвушка, и прикащику велѣнье прислано барское: — не медля другую къ барынѣ представить. Выбралъ прикащикъ меня. Я была сирота, только и роду всего у меня, что дѣдушка. Ласковый такой старичокъ былъ, сѣденькій, смирный... Выслушалъ онъ приказъ, вздохнулъ, да и повезъ меня.

Барыня наша жила въ уѣздномъ городкѣ. Городокъ былъ ветхонькій, словно сѣренькій. И домики сѣренькіе, и заборы, и частоколы, да и мѣщане тамъ все въ сѣрыхъ чуйкахъ ходили. А вотъ деревья тамъ такія развѣсистыя, такія густолиственныя! Надъ иною избушкою раскинется липа зеленая, всю закроетъ, только чуть уголочикъ сѣрѣетъ. Улички узенькія: подъ заборами такая травка густая росла; воробьевъ видимо невидимо,— такое чириканье поднимаютъ; и сорокъ много водилось, — такъ по улицѣ и скачутъ, не боятся.

Барскій домъ стоялъ на концѣ города, на выѣздѣ, каменный, высокій; подъѣзды крытые; надъ воротами два льва сидѣли съ разинутою пастью. Кругомъ дома садъ густой зеленѣлъ, въ саду бесѣдки разныя, дорожки,

усыпанныя пескомъ,—все по барски. А кругомъ мѣщанскіе домики жались другъ къ дружкѣ вдоль улички рядочкомъ.

Въѣхали мы въ ворота. Дворъ обширный и чистый. Вышелъ къ намъ на встрѣчу высокій бородачъ, смуглый, румяный; глаза у него такъ и сверкаютъ, лицо такое удалое, гордое, улыбка веселая да насмѣшливая... На немъ плисовые шаровары, рубашка красная, сапоги скрипучіе. Вышелъ онъ безъ шапки, и черные его кудри развѣваются.

Дѣдушка кланяется ему. Поклонился и онъ; подбоченился и осмотрѣлъ насъ съ ногъ до головы.

Тутъ выскочилъ изъ избы мальчишка быстроглазый, круглолицый, черный какъ словно жучокъ. Выглянулъ изъ дверей поваръ въ бѣломъ колпакѣ, — смѳрщеный, сѣдой; глазки у него маленькіе, носикъ остренькій и кривой; борода не брита давно. Выглянулъ, посмотрѣлъ, табаку понюхалъ, и пошелъ. Вотъ словно сказалъ: «Видали и такихъ!» Вышла на крыльцо изъ хоромъ старушка, въ темномъ платьѣ и въ бѣломъ чепцѣ, степенная, строгая старушка и подозвала меня къ себѣ.

— Иди за мною къ барынѣ: говоритъ — войдешь; поклонись низко и къ ручкѣ подойди, поцѣлуй ручку бережно, не бросайся...

II

Иду за нею. Комнаты большія, свѣтлыя. Ковры богатые, яркіе; зеркала, картины въ золоченыхъ рамахъ.

Барыня сидитъ въ креслѣ и съ собачкой играетъ. Изъ себя она еще хороша была, хоть и не молода. Взглядъ

быстрый, рѣчь живая, скорая, голосъ звонкій... И видно сейчасъ, что щеголиха она не послѣдняя: все на ней съ иголочки, и сидитъ она такая нарядная да пышная. Посмотрѣла на меня, спросила какъ зовутъ и сколько мнѣ лѣтъ, и сказала старушкѣ:

— Ну, уведите ее.

Простилась я съ дѣдушкой.

— Не скучай, дитятко! говорилъ онъ мнѣ. — То ли еще на вѣку-то случается? а ты не скучай!

Все меня утѣшалъ, а самъ вздыхалъ; а поѣхалъ, — заплакалъ.

Одѣли меня и къ барынѣ приставили, а старушка, (Аксинья Ивановна ее звали) домой пошла. Она проживала у барыни пока надо было, а потомъ отослали ее.

Въ хоромахъ я была да Миша, вотъ тотъ мальчикъ быстроглазый. Миша также сирота былъ, да горевать онъ не горевалъ; веселый такой, шумливый, говорунъ, проказникъ, и ко всякому, бывало, онъ съумѣетъ подойти. Ужь на что поваръ не любезный человѣкъ былъ, молчаливый, не то что чуждался онъ людей, только неохочь былъ ни на дружбу, ни на знакомство, а и онъ бывало слушалъ Мишу, какъ тотъ размелется; не прогонялъ никогда; слушаетъ, бывало, улыбнется и табаку понюхаетъ. А Ефимъ, такъ очень Мишу любилъ, часто его зоветъ бывало самъ и въ разговоры вдается, какъ съ ровнею.

Барыня моею услугою недовольна была и все на меня гнѣвалась. Я робка очень была; бывало она крикнетъ, — у меня и руки задрожатъ, и въ глазахъ потемнѣетъ; ну, и неловкая я такая, непроворная, — что грѣха таить!

Билась она, билась со мною, да и послала за Аксиньей Ивановной. Аксинья Ивановна сейчасъ прибѣжала.

— Что вашей милости угодно?

— Аксинья Ивановна! поищи-ка ты мнѣ хорошую служанку. Нѣтъ ли изъ мѣщанокъ? Все онѣ поумнѣй и посмышленѣй.

Аксинья Ивановна сейчасъ за платокъ, за шапочку, и пошла дѣвушку розыскивать.

Подъ вечеръ, видимъ: идетъ Аксинья Ивановна и за собою дѣвушку ведетъ. Дѣвука высокая, статная; глазами такъ и обжигаетъ. Вышелъ Ефимъ навстрѣчу имъ и остановился: — хороша! А дѣвушка на него глянула ли, нѣтъ ли, и прошла мимо въ хоромы, голову высоко поднявши. Ефимъ себѣ отвернулся.

— Кланяться не будемъ, Миша! сказалъ съ усмѣшкой. А Миша ему:

— Вотъ, Ефимъ Григоричь, королева-то!

— Эхъ, Миша, не все золото что блеститъ! Ефимъ отвѣтилъ.

Барынѣ дѣвушка очень по нраву пришлась: договорила ее, Аксиньѣ Ивановнѣ за трудъ, да за усердіе, старое платье пожаловала.

III

Пришла дѣвушка ужинать въ людскую и все молча сидѣла. Если что и спросятъ, то сквозь зубы отвѣчала. Ефимъ усмѣхался и поглядывалъ на нее. А она противъ него сидитъ. Платье на ней розовое, въ ушахъ длинныя подвѣски стразовыя качаются, коса на самой маковкѣ подъ гребешкомъ. Изъ себя хоть и худощава и желтолица, а хороша. Вечеромъ еще лучше она намъ показалась: глаза такіе яркіе, умные; брови тёмные дугою;

а нраву видно она насмѣшливаго и кичлива: сидитъ себѣ, тонкія губы сжавши.

Заговаривали мы съ нею, заговаривали, а тамъ и замолкли себѣ. Вдругъ Ефимъ къ ней:

— А что, красавица, какъ имя ваше, какъ отчество?

Она какъ глянетъ, ровно водою студеною окатила.

— Что угодно? протянула. Голосъ-то у ней не звучитъ словно.

Ефимъ даже вспыхнулъ весь, ну а не сплошалъ таки.

— Какъ по имени, по отчеству величаютъ? повторилъ.

— Зовутъ меня Анною, а по батюшкѣ Акимовною, отвѣтила ему дѣвушка, и такъ словно топоромъ отрубила.

Крѣпко, кажись, она спѣсивостью нашего Ефима задѣла; онъ только кудрями тряхнулъ и проговорилъ:

— Желаемъ много лѣтъ здравствовать Аннѣ Акимовнѣ!

Глаза у него сверкнули и замолчалъ онъ на весь вечеръ. А какъ расходились мы, онъ на нее посмотрѣлъ такъ язвительно, усмѣхнулся и прищурился, что Анна Акимовна вспыхнула и отвернулась, — словно осерчала.

IV

Вотъ на другой день проситъ Анна Акимовна барыню, чтобъ за ея пожитками послать. Она прежде проживала у тетки, городской мѣщанки; тамъ ея и все добро хранилось; — такъ вотъ она и проситъ барыню. Барыня сейчасъ приказала:

— Пусть Ефимъ сходитъ да заберетъ, или пусть съѣздитъ. Скажи ему.

Выходитъ Анна Акимовна на крыльцо, а тутъ и всѣ люди во дворѣ, и Ефимъ тутъ же. Вотъ она оглядываетъ сверху съ головъ, да протяжно такъ и говоритъ:

— А кто тутъ у васъ Ефимъ кучеръ?

Словно она его и не знаетъ, а не правда: сейчасъ всякій бы сказалъ, что неправда. Не знаетъ, а чего жь это вся вспыхнула! чего въ его сторону и не глянетъ?

— Кто у васъ тутъ кучеръ Ефимъ?

Мы только всѣ переглянулись, а поваренокъ Миша такъ и покатился со смѣху, да и всѣ-то улыбнулись. А Ефимъ тряхнулъ кудрями и выступилъ ближе къ ней.

— Вотъ ударъ-то сердцу молодецкому! обращается Ефимъ къ намъ. — Мы думали, что про насъ и въ Москвѣ писано: а выходитъ-то что? Невѣдомые, незнаемые люди совсѣмъ! Красная дѣвушка щурилась и жмурилась, — да лица нашего не признала!

Анна Акимовна его рѣчь перебиваетъ:

— Барыня приказала мои пожитки перевезти, да не мѣшкать съ этимъ приказывала.

— Помилуйте, Анна Акимовна! какъ можно-съ! Мы въ сей же мигъ... А много подводъ прикажете вырядить?

Самъ смиренникомъ стоитъ, а ужь лукавство-то такое на лицѣ!

Анна Акимовна смутилась и разсердилась, и слова не отвѣтила — ушла.

Кто стоялъ тутъ на дворѣ, — посмѣялись и разошлись, только еще Ефимъ остался.

Выходитъ опять Анна Акимовна:

— Что жь не ѣдешь куда посланъ? сурово спросила его и глянула изъ подлобья враждебно.

— Да вотъ отвѣту мнѣ не дали; отвѣту жду: сколько...

— У меня пожитковъ не много.

И ушла, и дверью за собою хлопнула.

Ефимъ вытянулъ возище громадный, что сѣно возятъ запрегъ и поѣхалъ къ ея теткѣ.

V

Ѣдетъ оттуда; видимъ-везетъ сундучишко голубенькій, жестью обитый, да двѣ подушечки, да одѣяльце легонькое. Поставилъ все добро середь воза и такъ ужь кричитъ на лошадь да понукаетъ, что всѣ сосѣди изъ оконъ высунулись, — глазѣютъ. Тамошнія мѣщанки такія ужь любопытницы всесвѣтныя; не приведи Господи!

— Что, что везутъ? слышно, а добро-то только вверхъ подбрасывается отъ каждаго толчка; тяжести тамъ мало было.

Гляну, а изъ хоромъ, изъ окошка сама Анна Акимовна смотритъ, да блѣдная такая, глаза блестятъ и губы дрожатъ.

Ефимъ въѣхалъ на дворъ и крикнулъ:

— Эй людъ крещеный! идите да великую добычу поднять помогите!

Анна Акимовна выбѣжала:

— Какъ ты смѣешь зубоскалить? прошептала. — Какъ ты смѣешь? — я барынѣ скажу.

— Переведите духъ, Анна Акимовна; больно ужь осерчали вы ей Богу.

Она схватила свой сундучокъ, подушечки, и сама потащила за собою. Ефимъ постоялъ, поглядѣлъ съ усмѣшкой, и сталъ пѣсенку насвистывать.

VI

Сбираемся ужинать. «Не придетъ», думаю, «Анна Акимовна: огорчена крѣпко». А она и входитъ, да веселая такая; привѣтливѣй даже стала: на меня взглянула, Мишѣ усмѣхнулась, у повара спросила, гдѣ вода стоитъ; только Ефима словно и не видитъ она.

Сѣли за ужинъ. Стала она мнѣ разсказывать, какая подъ городомъ роща славная, и гулять тамъ прохладно, и много народу туда сходится, съѣзжается. Разсказываетъ, а я слушаю. И щеки у ней разгорѣлись, глаза такъ и искрятся. — Вотъ веселье напало! — Да какъ-то гляну на нее сбоку, а лицо ея все подергивается, словно ей что въ сердце впилось... «Вотъ какъ!» думаю. А Анна Акимовна безпрестанно говоритъ, все говоритъ, ну и договорилась.

— Разъ, разсказываетъ, — шли мы изъ рощи поздно ночью; цѣлая насъ ватага была, и весело такъ было; ночь то мѣсячная, теплая, то и дѣло встрѣчаются люди. Вдругъ тучами заволокло; темь такая, ни зги не видно; а намъ какъ разъ мостикъ переходить, и на встрѣчу намъ какіе-то молодцы, — кто ихъ знаетъ чьи! — себѣ толпятся. Суматоха поднялась, и дѣвушекъ столкнули. Я первая слетѣла подъ мостокъ.

А Ефимъ ей на то:

— Великому кораблю великое и плаванье, Анна Акимовна!

Анну Акимовну словно водой окатили; вздрогнула, не нашлась что отвѣчать; хотѣла она опять въ разговоры пуститься, въ разсказы, да нѣтъ, ужь не вяжутся слова.

Прикусила она губы, нахмурилась, задумалась... А Ефимъ какъ ни въ чемъ не бывало:

— Славно вы разсказываете, Анна Акимовна, заслушаешься! говоритъ, тряхнувши кудрями.

VII

Прошелъ годъ. Обжилась у насъ Анна Акимовна; узнали мы ее короче. Нравная была дѣвушка, кичливая, обидчивая. Ни за что бывало повздоритъ со всякимъ; а что про Ефима — нечего и говорить: всегда съ нимъ во враждѣ, въ ссорѣ, въ гнѣвѣ. По цѣлымъ недѣлямъ бывало, не говорятъ межъ собой; отвертывается Анна Акимовна отъ него, а онъ только посмѣивается. А то случалось, — вдругъ нежданно подойдетъ къ ней близко, склонится и прошепчетъ.

— Анна Акимовна! Здоровы ли?

Глаза у него такіе тихіе, голосъ мягкій?

Она такъ и обольется румянцемъ горячимъ, и хоть хмурится, а лицо таки просіяетъ, противъ ея воли улыбка мелькнетъ. И убѣжитъ бывало отъ него. И долго послѣ того не идетъ въ людскую изъ хоромъ.

А весела какъ она бывала послѣ привѣту такого! И пѣсни распѣваетъ, и шутитъ. Я, Миша, себѣ за нею веселимся. А разговоръ все какъ-то на Ефима сходитъ всегда. И самъ не замѣтишь, какъ заговоришь про него, и пустое все разсказываемъ; то: «вотъ Ефимъ поѣхалъ лошадей ковать. — Ефимъ пѣсни хорошо поетъ. Вотъ Ефиму бы жениться! И на комъ это ему Богъ приведетъ?»

Что жь тутъ за разговоры? Пустые! — А Анна Акимовна словечка не проронитъ, — слушаетъ. И какъ

хитро на эту рѣчь сводитъ! Я бы до вѣку не догадалась; да Миша надоумилъ. Это такой ужь пройдоха былъ! Ничего и подъ землей отъ него не утаишь. Миша какъ примѣтилъ, шепнулъ мнѣ:

— Что это Анна Акимовна все на Ефима рѣчь сводитъ? Вотъ новинка-то ему будетъ, а мнѣ потѣха!

Вскочилъ и убѣжалъ изъ хоромъ. Вѣрно, онъ тогда жь и передалъ эту замѣтку свою Ефиму.

VIII

Садимся обѣдать. Миша такъ и юлитъ, усмѣхается, моргаетъ. Ефимъ пригрозилъ ему, да ужь поздно. На бѣду Анна Акимовна замѣтила и вспылила-вспылила... Она въ тотъ же день какъ нарочно весела очень была, и сама объ Ефимѣ спрашивала, а тутъ видно догадалась, что пересказано.

— Миша! едва проговорила: — я скажу барынѣ про твои насмѣшки!

— Какія насмѣшки, Анна Акимовна? Да я свои дѣла... Я про васъ ей Богу и забылъ.

И такую рожицу смиренную скорчилъ тотъ Миша: — кажись только бы его калачикомъ наградить!

Ефимъ улыбнулся.

— Чего это вы гнѣваться-то такъ изволите, Анна Акимовна? Или что потеряли? Или слово забывчивое сказали? Что жь, — слово не воробей, вылетитъ, ужь не поймаешь.

— Ты чего привязываешься? Кто тебя-то спрашивалъ? накинулась на него Анна Акимовна, не помня себя отъ гнѣва. — Зазнался, зазнался ты очень! Вотъ

ужь посади за столъ... Забылъ кто ты такой... что за вельможа? что ты о себѣ думаешь?

Ефимъ сталъ передъ нею, головою покачиваетъ.

— Ты-то отъ какихъ князей родъ ведешь?

— Да какъ ты смѣешь равняться-то! Безсовѣстный ты такой! Мой батюшка купецъ былъ, свою торговлю велъ...

— Да-съ, да-съ! намъ не безъизвѣстно-съ! Ну, что вы купцы? Вѣдь одинъ обманъ отъ васъ только. Я вотъ хоть бы вчера платокъ купилъ; божилось лихое твое племя: — износу нѣтъ, а вотъ посмотри-ка — весь свѣтится!

И покойно такъ разсказываетъ, платокъ развертываетъ; а она-то дрожитъ вся блѣдная.

— Я барынѣ жаловаться буду! крикнула. — Ты не смѣй издѣваться, мужикъ глупый!

— Постой, постой! заговорилъ Ефимъ, словно изумился.

— Да; мужикъ безтолковый! кричитъ Анна Акимовна.

Ефима словно кто противъ шерсти повелъ; кудрями онъ тряхнулъ и бороду погладилъ.

— Погоди, погоди! началъ сдерживая свой голосъ звучный. — Говоришь ты: — мужикъ... Ну, признаюсь тебѣ самъ, точно я мужикъ. И изъ деревни я недавно, — тоже признаюсь. Жилъ я тамъ, пахалъ, сѣялъ, кормился самъ и продавалъ, и съ людьми чисто поступалъ, дружно жилъ. Я нраву веселаго. А ты, купеческая дочка, Анна Акимовна, чѣмъ ты взяла? Что изъ себя-то ты вглядна? Это сущій пустякъ. Первое дѣло — душа, нравъ. Ты задорна, строптива больно.

— Какъ смѣешь? запищала она. А онъ свое:

— Лѣтъ ты хоть не молодыхъ, а уваженія тебѣ ни отъ кого нѣту... Какъ ты себѣ ни величайся, какъ ни кичись; — идутъ люди, а сами и не спросятъ: что это за Анна Акимовна на свѣтѣ живетъ? Мой-то батюшка землю пахалъ и всякъ скажетъ: «Добрый мужичокъ былъ покойникъ!» А твой, хоть въ лисьихъ шубахъ хаживалъ, да слава-то нехороша... Чего жь шипѣть-то по змѣиному, — вѣдь правду говорю.

А у купеческой дочки голосъ съ сердцовъ ужь оборвался.

— Ты, — наконецъ вскрикнула, — ты какъ осмѣлился моего батюшку порочить? Какъ смѣешь!

— Отчего не смѣю?

— Не смѣешь!

— Смѣю.

Да какъ пошла!... Кричатъ на всю избу. Мы ихъ уговаривать, разнимать, — куда, — еще пуще! Вдругъ слезы такъ и брызнули у Анны Акимовны; выбѣжала она изъ избы. Ефимъ захохоталъ.

— Со злости голосить будетъ! Анна Акимовна, на доброе здоровье вамъ! Готовы служить-съ! Чѣмъ богаты, тѣмъ вамъ и рады.

IX

Послѣ этой ссоры, они совсѣмъ и въ разговоръ не входили. Встрѣтятся, — она отвернется. И такая недотрога стала, спаси Господи! Чуть что ей покажется не такъ, — вспылитъ, зашумитъ, забурлитъ. И онъ угрюмѣй, и шутки его злобныя. Оба похудѣли, поблѣднѣли.

Разъ Миша утромъ и шепчетъ мнѣ:

—Слушай-ка, Катя, дива-то какія я тебѣ разскажу.

—Ну, что̀ тамъ такое? говорю.

—Да Ефимъ сегодня вѣдь цѣлую ночь глазъ не свелъ; я съ вечера хватился его—нѣту. «Пойду поищу гдѣ онъ», думаю. Обѣжалъ весь дворъ — нѣту, и за воротами нѣту. Самъ незнаю, сильно меня что̀-то толкнуло. Побѣжалъ я къ рѣкѣ, а онъ тамъ, и сидитъ на горкѣ, надъ рѣкою. Склонилъ голову на руки, — думаетъ, да такой-то печальный, будто по родной матери тужитъ! А кругомъ все тихо, только вода плещетъ въ берега. Мѣсяцъ ясно свѣтитъ... Не рѣшился я его окликнуть, — побоялся, да и любопытно мнѣ было, что будетъ... Жду, жду, а онъ всё сидитъ, не шевельнется... Господи! какой печальный-то онъ былъ! какой ужь унылый! Заря стала заниматься... онъ поднялся и тихо пошелъ домой; вотъ словно больной разбитый человѣкъ, запрегъ водовозку и за водой поѣхалъ. Такъ вотъ, Катя, дива-то какія! Просто, ума не приложить! и голова у меня болитъ отъ безсонницы; — мочи нѣтъ!

А я давно ужь за Анной Акимовной замѣчала, что ей по ночамъ не спится, — сидитъ пригорюнившись на постели да думу думаетъ. А то разъ я пробудилась. Ночью гроза была сильная; дождь, вѣтеръ, градъ; деревья шумятъ и трещатъ; вода съ крышъ льется, — журчитъ; громъ раскатывается, грохочетъ; молнія сверкаетъ. Я вскочила, крещусь. — «Анна Акимовна!» окликаю ее тихонько. Ее нѣту. А у насъ всегда лампадочка горѣла:—видно, свѣтло было. Гроза утихла. Гдѣ жь это Анна Акимовна? Слышится мнѣ въ образной шорохъ;—я подкралась... Анна Акимовна передъ образами на колѣняхъ стоитъ и такъ молится! Стиснула руки и только

выговариваетъ: «Боже мой! Боже мой! помилуй меня грѣшную!» И въ такомъ она томленіи, въ такой мукѣ мучилась! Припадетъ къ полу, — лежитъ, и опять поднимется, опять взмолится; — а безъ слезъ молится, безъ рыданья...

Ну, я своей замѣтки Мишѣ не сказала: его ужь и то любопытство-то извело совсѣмъ. Не доѣдаетъ, не досыпаетъ, — все слѣдитъ за ними. Что жь? охота пуще неволи!

X

А днемъ ихъ увидишь — не въ догадъ тебѣ, что на душѣ дѣется у нихъ. Свое дѣло дѣлаютъ исправно, и веселы, и смѣются. Только межь собою не говорятъ, а такъ только шпильки разныя пускаютъ другъ дружкѣ. За обѣдомъ ли, за ужиномъ какъ сберемся, Анна Акимовна и начнетъ; рѣчь про мужиковъ заведетъ (этимъ, знала она, лучше всего доймешь), и сё, и то. Язвила она разъ, язвила; Ефимъ все молчалъ; а тамъ и говоритъ ей, спокойно такъ:

—Эхъ, матушка, Анна Акимовна! а я, мужикъ, вѣдь за васъ посвататься хотѣлъ. Что? думаю, дѣвушка она хоть нетолковая, хоть вздорная, ерошливая, да за обозомъ сбредетъ.

Она вспыхнула и затрепетала.

—Полно же, матушка! говоритъ Ефимъ, — не извольте гнѣваться: нездоровье приключится. Опаски на счетъ сватовства моего не имѣйте. Пришла было дурь въ голову, и прошла. Всякъ сверчокъ знай свой шестокъ. Мы себѣ ровню повысмотримъ.

Она вдругъ замолчала, и молча цѣлый обѣдъ просидѣла.

XI

Послѣ этой размолвки послѣдней, вдругъ Ефимъ повеселѣлъ; прихорашивается все, прибирается. Часто сталъ со двора, изъ дому отлучаться; а изъ дому идетъ—пѣсни поетъ; домой ворочается—съ пѣснею. И все пѣлъ онъ:

Ахъ ты милая, хорошая моя,
Чернобровая, привѣтливая.

Притихла Анна Акимовна, и не слышно ее. Тихонько себѣ работаетъ, а въ свободный часокъ къ вечернѣ идетъ, и все въ уголку становится, къ сторонкѣ, и молится.

—Что барыня? спрашиваетъ меня Ефимъ однимъ вечеромъ. Всѣ мы въ людской были; Анна Акимовна гладила. — Приметъ она меня?

— Да отчего жь не принять! говорю. — А вамъ что?

— Да вотъ милости хочу просить.

Анна Акимовна слушаетъ...

— Такъ и быть, говоритъ Ефимъ, — надо вамъ признаться: жениться я хочу. Ужь вы, Анна Акимовна, стараго гнѣву не помяните, не обидьте мою суженую. Дѣвочка славная!

Анна Акимовна побѣлѣла вся, и губы у ней задрожали. Не отвѣтила ему ничего и вышла.

Ефимъ усмѣхнулся ей вслѣдъ и пѣсенку сталъ насвистывать.

Легла барыня спать. Бѣгу я въ людскую, слышу — на лѣстницѣ кто-то плачетъ. Смотрю: — Анна Акимовна. И какъ ужь она горько плакала — рыдала! Я тихонько мимо ее пробѣжала; она меня и не замѣтила. Ужинать Анна Акимовна не пришла.

— Что это нашу Анну Акимовну отъ ѣды отбило? говоритъ Ефимъ, да такъ лукаво посматриваетъ и весело.

— Я видѣла — она плачетъ на лѣстницѣ, говорю я ему.

— Плачетъ? вскрикнулъ.

Послѣ ужина онъ сейчасъ выюркнулъ за двери. Мы съ Мишею переморгнулись,—себѣ за нимъ. Онъ прямо къ хоромамъ; сталъ, послушалъ, — плачетъ. Онъ туда. Мѣсяцъ свѣтитъ ярко, и лѣстница свѣтла; а Анна Акимовна въ темной уголокъ забилась. Онъ туда къ ней и обнялъ ее крѣпко, и цѣловать сталъ.

Какъ ахнетъ она! глянула на него, узнала, да такъ и обвилась руками около его шеи и плачетъ-плачетъ!

Онъ ее на рукахъ вынесъ изъ того уголка. Она вырываться, — не пускаетъ; поставилъ противъ мѣсяца свѣта:

— Ага, купеческая дочка, Анна Акимовна! промолвилъ, — теперь ты моя!

И такъ вымолвилъ, словно онъ врага своего лютаго полонилъ, и у самаго слезы двѣ скатились, и такая усмѣшка злобная! Страшно и чудно на него смотрѣть тогда было.

Анна Акимовна только руками закрывается, да плачетъ горько.

XII

Утромъ они къ барынѣ пришли. Ефимъ за руку ведетъ Анну Акимовну. Она такая печальная, заплаканная, словно на казнь онъ ведетъ. Барыня ихъ приняла, удивилась и обрадовалась.

— Хорошо, хорошо, говоритъ Ефиму, — женись, — позволяю. Я къ Аннушкѣ привыкла.

И дала барыня имъ ручку поцѣловать.

Ефимъ сейчасъ и гостей пошелъ сзывать, подарки невѣстѣ покупать. А невѣста сидитъ, ему рубашку шьетъ, а сама разливается, плачетъ.

— Что жь, Анна Акимовна, говоритъ Ефимъ, — что жь вы своихъ не зовете?

— У меня никого нѣтъ отвѣтила.

— Хоть дальняя родня, а все родня; — вы позовите.

— Хорошо, говоритъ.

Позвала Анна Акимовна купеческихъ дѣвушекъ на дѣвичникъ. Пришли, все такія разряженыя, въ шелковыхъ платьяхъ, у одной золотая цѣпь на шеѣ висѣла, и въ ушахъ серьги драгоцѣнныя сверкали. Была это троюродная сестра Анны Акимовны.

Къ Ефиму никто не пришелъ. А ужь какъ Анна Акимовна боялась убогихъ гостей! Чуть дверь отворяется, — она въ лицѣ измѣняется.

Купчихи сидѣли около стѣнокъ, чинно такъ, и орѣхи грызли. Невѣста цѣлый вечеръ проплакала. Ни пѣсенъ, ни веселья не было; только одинъ Миша утѣшался.

На другой же день, — подъ вѣнецъ. Ефимъ очень спѣшилъ свадьбою. Барыня сама молодыхъ благословила.

Вѣнчать повезли Анну Акимовну въ барской коляскѣ; — такъ барыня приказала, — а Ефимъ ѣхать не захотѣлъ, пѣшкомъ пошелъ.

Купчихи собрались еще наряднѣй: набѣлились, нарумянились. Ефимовыхъ гостей все нѣту. Перевѣнчались и пріѣхали всѣ со всѣми гостями домой. Взялъ Ефимъ съ усмѣшкой молодую жену и ведетъ, а на порогѣ ихъ встрѣчаетъ хлѣбомъ-солью мужичекъ въ зипунишкѣ ветхонькомъ, въ лаптишкахъ. Невѣста глянула и зашаталась. А Ефимъ ее ближе подводитъ и кланяется въ поясъ тому мужичку. «Злодѣй»! прошептала молодая — «Злодѣй»!

Всѣ купчихи словно окаменѣли, — стоятъ, смотрятъ такъ, будто ждутъ выстрѣла изъ пушки. Входятъ въ избу, и въ избѣ на лавкахъ все въ лаптяхъ сидятъ. Купчихи глянули и пятятся къ дверямъ, губы поджимаютъ, платья свои шелковыя подбираютъ, — обидѣлись, взъерошились.

А Ефимъ ихъ упрашиваетъ, двери имъ заступаетъ:

— Что спѣсивитесь больно, гости дорогія? Да не обидьте, не огорчите: погуляйте на свадьбѣ!

А купчихи надулись, къ стѣнкѣ лицомъ отъ него отвертываются.

Тогда онъ имъ двери настежъ:

— Была бъ вамъ честь предложена, а отъ убытку Богъ избавилъ! Проживаете вы безъ насъ, а мы-то безъ васъ проживемъ.

Купчихи такъ табуномъ и понеслись въ двери; сами зашумѣли промежъ собою по-шмелиному.

— Анна Акимовна! крикнулъ Ефимъ, — угощайте дорогихъ гостей! Нарочно по всему городу бѣгалъ, искалъ такихъ, чтобъ вамъ понравились. Что жь вы пріуныли-то? Поживется — слюбится!

Понемногу всѣ опомнились, обошлись, а то вѣдь даже и поваръ удивился; — пьютъ, здоровья, многихъ лѣтъ молодымъ желаютъ, ихъ цѣловаться заставляютъ.

Анна Акимовна потеряна совсѣмъ; вся дрожитъ, кланяется, цѣлуется; словно она себя не помнитъ; потомъ сѣла на лавку, и гости всѣ разошлись, — она не шевельнулась. Говорятъ — не отвѣчала, не глянула.

XIII

На другой день она захворала, и долго пролежала больна. Барыня къ ней лѣкаря присылала. Онъ ее спрашивалъ — молчала. Лѣкарь ее дурою назвалъ и по своему ужь разумѣнію ей тамъ какое-то лѣкарство далъ. Не приняла

Ефимъ сталъ крѣпко тревожиться, затужилъ, закручинился. Цѣлыя ночи надъ нею просиживалъ и всё бывало глядитъ на нее. А она его глаза встрѣтитъ — отвернется; голосъ его послышитъ — вздрогнетъ.

А все-таки онъ суровъ съ нею былъ; хоть видно ужь по всему что любилъ, а суровъ былъ. Только разъ онъ ее нѣжными словами просилъ, чтобъ лѣчилась. Ужь онъ тогда ее просилъ! Она только отвернулась. Послѣ того еще суровѣй онъ сдѣлался, еще угрюмѣй и насмѣшливѣй. Въ черныхъ кудряхъ сѣдина засвѣтилась...

Никто не думалъ, чтобы Анна Акимовна оправилась. Сбирались ужь ей гробъ покупать, а она выздоровѣла. Перемѣнила ее болѣзнь такъ, что и сказать нельзя: такая стала тихая, смирная, — водой не замутитъ.

Тяжело да горестно жилось Аннѣ Акимовнѣ. Ефимъ ей все за прежнюю гордость отплачивалъ.

— Утеряли вы, Анна Акимовна, свое княжество-то за мною! Вотъ вѣдь маху-то дали! просто бѣда!

Она все молчитъ.

И глядитъ онъ на нее бывало, какъ на своего врага жестокаго, и часто приговаривалъ глядя:

— Жигуча крапива родится, да уворится!

И усмѣхнется.

XIV

Анна Акимовна сохнетъ да таетъ, не по днямъ, а по часамъ. А спросишь: — «здорова», говоритъ, и работы своей не бросаетъ, — работаетъ. Глаза у ней большіе такіе стали, щеки впали и такой яркій румянецъ на щекахъ игралъ... Плакать она не плакала никогда: покойна была, только ужь такая тихая, да печальная! Бывало, какъ войдетъ, о чемъ бы ты ни велъ рѣчь веселую, — слово твое замретъ и сердце заноетъ... Даже барыня стала замѣчать и спрашивать:

— Чего ты, Аннушка, такъ худѣешь? Ты у меня выздоравливай пожалуста! Вотъ еще умретъ,—бѣда тогда! Останусь я безъ ней, какъ безъ рукъ. Полѣчись-ка ты, Аннушка.

— Я здорова, сударыня.

— Ну, не худѣй, если здорова.

Ефимъ опять жесточе да жесточе съ нею, да угрюмѣй. Постарѣлъ-то онъ какъ за это время. Такія морщины глубокія его лицо избороздили! Не тѣ глаза живые; угрюмый, горящій взглядъ; усмѣшка язвительная, слова насмѣшливыя, да ѣдкія, а какъ засмѣется, — морозъ по кожѣ подираетъ, такой хохотъ его недобрый.

XV

Къ осени Анна Акимовна очень ослабѣла. Дни стали холоднѣе; дожди пошли. Вотъ передъ Покровомъ, денекъ выдался такой ясный, теплый! Вышла Анна Акимовна на солнышкѣ погрѣться: все она зябла. И сидѣла она въ саду, подъ липою, работала. — Время хоть осеннее было, и ужь деревья листъ разноцвѣтный роняли, а хорошо еще въ саду было: ягоды алѣли на шиповникѣ, бѣлѣли пожелклыя березы, и дубъ еще зеленѣлъ; — хорошо было въ саду. Анна Акимовна сидѣла и работала. Я приходила ее обѣдать звать, — не пошла.

— Не хочу, говоритъ.

Слезы у меня навернулись, что сидитъ она такая тихая, тихая...

— Анна Акимовна! говорю, — бросили бъ вы эту работу, отдохнули бъ немножко!

— На что бросать? отвѣчаетъ, — кончать надо!

Постояла я около нея, постояла.

— Славный день сегодня какой, Анна Акимовна; тепло.

— Тепло, отвѣчаетъ, — славный день.

Хоть бы она пожаловалась, хоть бы безъ словъ заплакала! Нѣтъ! Хотѣлось мнѣ обнять ее, да приголубить; спросить хотѣлось, что болитъ, да я не посмѣла и ушла отъ нея съ тяжелымъ сердцемъ, съ тоскою.

Подъ вечеръ опять я побѣжала къ ней въ садъ. Ея нѣтъ ужь тамъ. Я въ хоромы, въ дѣвичью, — нѣту.

Спрашиваю Мишу:

— Миша, не видалъ ты Анны Акимовны?

— Видѣлъ, говоритъ:—она въ свою повѣтку прошла.

А у нихъ была повѣточка въ дворѣ, гдѣ свое добро хранили.

Стучусь я въ повѣтку, — никто не подаетъ голосу мнѣ. Толкнула я тихонько дверь и вхожу... за мной и Миша.

Лежитъ Анна Акимовна холодна и мертва. Въ рукахъ крестъ сжала, и такое лицо прозрачное, да безстрастное, словно восковое! Видно, что знала она, вѣдала, когда умереть ей: чистымъ полотномъ скамью застлала и образъ поставила себѣ въ головы, и убралась, нарядилась.

XVI

Бросились мы, сказали сосѣдямъ, доложили барынѣ.

Ефима съ утра дома не было: посланъ былъ куда-то съ книгами отъ барыни.

Сбѣжались люди; шумъ, говоръ, толки, аханье. Послали за дьячкомъ. Стали надъ покойницей читать и понемногу всѣ угомонились, опомнились. А тутъ Ефимъ на дворъ.

Кто былъ тутъ, всѣ отъ него разбѣжались: онъ только оглянулся и прямо къ повѣткѣ... Мы долго ждали,— не выходитъ. Пошли сами туда, смотримъ:—стоитъ онъ около покойницы, руки скрестивши, глядитъ на нее, слушаетъ чтеніе. А дьячокъ читаетъ громко, протяжно; свѣчечки пылаютъ.

И цѣлую ночь онъ простоялъ, не шевельнулся, невздохнулъ. На утро пошелъ, гробъ купилъ, къ священнику зашелъ, попросилъ, и могилу вырылъ ей самъ.

Сзывалъ на похороны. Совсѣмъ спокоенъ человѣкъ былъ кажись, а все чего-то страшно было; все сердце недоброе чуяло, вѣщало...

XVII

Отнесли на погостъ Анну Акимовну, и въ сырую землю схоронили. Заходили съ кладбища люди; поминальный обѣдъ былъ, и Ефимъ самъ распоряжался. Какъ разошлись всѣ, онъ лошадей на водопой повелъ и говоритъ Мишѣ:

— Миша, слушай да помни! Коли я пропаду, все мое добро отказываю женихой теткѣ; пусть ей все отдадутъ. Слышалъ?

Перепугался до смерти Миша.

— Слышу.

— Ну, помни! и поскакалъ.

Вбѣжалъ Миша въ людскую, дрожитъ всѣмъ тѣломъ:

— Ефимъ хочетъ руку на себя наложить!

Всполошилъ всѣхъ: побѣжали къ водопою. Всѣ лошади подъ горою къ ракитѣ привязаны, а Ефима нѣтъ нигдѣ... Окликать, искать, и нашли его шапку около колодца, стараго, заброшеннаго. А въ колодцѣ томъ давно еще дѣвочка утонула, — и дна въ немъ не было. Около этого самаго колодца шапку его нашли, скликали людей съ баграми и съ крюками, да съ говоромъ шумнымъ Ефима мертваго выволокли.

6

ИГРУШЕЧКА.

(посвящается Марьѣ Каспаровнѣ Рейхель.)

Я родомъ-то издалёка, свой край чуть помню: увезли меня оттуда по шестому году. Вотъ только помню я длинную улицу да темный рядъ избушекъ дымныхъ; въ концѣ улицы на выгонѣ стояли двѣ березы тонкія — высокія. Да еще помню, у насъ подъ самымъ окномъ густыя такія конопли росли, а межъ коноплями тропиночка чернѣла, а гдѣ-то близко словно ручеекъ журчалъ, а вдали на горѣ лѣсъ зеленѣлъ. Да еще я помню свою матушку родную. Все она бывало въ заботѣ, да все сиживала пригорюнившись... Отца я не зазнала: онъ померъ, мнѣ еще и году не было. Жили мы въ своей избушкѣ... Послѣ, на чужой сторонѣ часто мнѣ, бывало, тѣ дни прошлые пригрезятся, что кругомъ поле безъ краю, солнце горитъ и жжетъ, сверкаютъ серпы, валится рожь колосистая; я сижу подъ копной, около меня глиняный кувшинчикъ съ водой стоитъ; подойдетъ матушка, съ серпомъ въ рукѣ, загорѣлая она, измореная, напьется воды изъ кувшинчика, на меня глянетъ и мнѣ усмѣхнется... А зимою! въ печи дрова трещатъ, въ избушкѣ дымно; хлопочетъ заботная моя матушка, а въ окно глянь — снѣжная пелена бѣлая изъ глазъ уходитъ; во всѣхъ из-

бахъ сѣнныя двери настежъ, и валитъ изъ дверей дымъ сѣрый... Деревья стоятъ, инеемъ опушились; тихо на улицѣ; только задорные воробьи чирикаютъ, скачутъ... И вдругъ я въ хоромахъ богатыхъ очутилась, всюду шелки да бархаты, стѣны росписныя, гвозди золочёные. Стою я середь горницы замираючи, а передо мной сидитъ на креслѣ барыня молодая, пригожая, разряженная. Сидѣла она и, глядючи на меня, усмѣхалась. Маленькая барышня, румяненькая, кудрявая, вертѣлась по комнатѣ да, смѣючись, все меня бѣленькимъ пальчикомъ затрогивала — вотъ словно какъ деревенскіе ребятишки галчатъ дразнятъ... Какъ схватили меня съ улицы и посередь горницы передъ барыней поставили, такъ и стою я да озираюсь: сердце у меня со страху закатилось... Понемножку я въ себя пришла и плакать стала, стала къ матушкѣ проситься. Барыня въ серебряный колокольчикъ зазвонила, и человѣкъ усатый вбѣжалъ. «Отнеси ее домой!» показываетъ ему барыня на меня, а барышня какъ закричитъ, какъ затопаетъ ножками!... Барыня къ ней цѣловать, унимать — барышня еще пуще... Выскочилъ изъ другой горницы баринъ щеголеватый... «Что? что?» Махнули на усатаго человѣка: «иди!» а меня не пустили, кусочекъ мнѣ сахару дали и велѣли: «не плачь»... Потомъ я помню безлюдное да безбрежное поле, да по полю дорогу змѣей черною, да помню свою тоску безпомощную... Послѣ уже, какъ я въ лѣта вошла, то отъ людей узнала, что̀ и какъ было.

Увидала меня на улицѣ барышня гуляючи; я барышнѣ приглянулась. «Дай мнѣ эту дѣвочку, подари!» говоритъ она барынѣ.

Барыня ее уговаривать стала: «На что тебѣ такая замарашка, глупенькая!» Да барышня ничего слушать,

знать не хочетъ: «дай дѣвочку!» Сама въ слезы ударилась. Вотъ и приказали меня въ хоромы привесть. Привели да ужь и не выпустили. А господа въ другую отчину выѣзжали и на другой день у нихъ былъ отъѣздъ положенъ. «Хочу дѣвочку съ собою взять!» кричитъ барышня. Попробовали ее уговаривать, только слова даромъ потратили. Барышня опять расплакалась, опять раскричалась; погладили ее господа по головкѣ и велѣли меня въ дорогу съ собой снарядить. Приходила къ нимъ моя матушка съ горькими слезами: «отдайте дочку!»

— Я бъ тебѣ отдала, да барышня не пускаетъ, очень ей твоя дочка понравилась, отвѣтила моей матушкѣ барыня. — Ты не плачь, пожалуйста: она вѣдь скоро барышнѣ прискучитъ, дѣтямъ забава не надолго — тогда сейчасъ твою дочку мы перешлемъ къ тебѣ.

Вышла барыня изъ дѣвичей и говоритъ своей ключницѣ любимой:

— Ахъ, какъ жалко мнѣ эту женщину! просто я на нее смотрѣть не могу. Идите, душечка, Арина Ивановна, скажите ей что-нибудь, дайте ей вотъ денегъ... ну, отдайте что-нибудь изъ моихъ вещей похуже... Только поскорѣе, чтобъ она шла себѣ, чтобъ тутъ не плакала....

Вышла Арина Ивановна къ моей матушкѣ и стала мою матушку изъ хоромъ гнать. Матушка пошла. На другой день, какъ мы ужь выѣзжали, приходила она хоть проститься со мной—не допустили.

— Лучше ты не показывайся: раздразнишь дѣвочку и барышню еще въ слезы введешь, и господъ, чего добраго, разгнѣвишь—твоей же дочкѣ жутче придется.

Матушка и не стала добиваться. Только какъ мы изъ деревни выѣзжали, она спряталась на выгонѣ въ конопли

да издали на меня взглянула, поблагословила меня... А мнѣ-то, глупой дѣвочкѣ, каково приходилось! Отъ страху, отъ слезъ задыхалась, а изъ всѣхъ дверей на меня грозятся, сверкаетъ на меня глазами ключница; барыня проплыветъ черезъ горницу, усмѣхается, покажется въ дверяхъ баринъ щеголеватый, пѣсенку себѣ насвистываетъ; прыгаетъ барышня, весёленькая, — и всѣ на меня глядятъ и всѣхъ-то я боюсь...

Путь дорога моя ясно мнѣ помнится. Я ѣхала въ бричкѣ съ ключницей, съ Ариной Ивановной, слѣдомъ за господскою каретой. Арина Ивановна была и гнѣвна и придирчива; за мои слезы дѣтскія била меня; не позволяла мнѣ изъ брички выглянуть, и все мнѣ спать приказывала. Я, бывало, какъ встрѣчу ея глазъ чёрный, злобный да голосъ шипящій послышу — меня ужь дрожь пронимаетъ. Тоска безутѣшная, страхъ безпрестанный да жаркое лѣто знойное совсѣмъ меня истомили — я захворала. Тогда меня перестали на всякомъ постоѣ къ барышнѣ на забаву таскать — боялись, что болѣзнью ее заражу, — велѣли меня въ бричкѣ уложить и съ барскаго стола мнѣ подачки присылали... Бывало, ѣдемъ-ѣдемъ и укачаетъ меня, дремота нападетъ тяжелая да безпокойная, и вдругъ что-то зашумитъ, пахнетъ въ лице прохладой; открою глаза — а то мы дубовый лѣсокъ проѣзжаемъ, и вѣетъ свѣжій вѣтерокъ, и зеленые листья шелестятъ по легоньку... Хочу приподняться: «чего тебѣ? куда?» прикрикнетъ Арина Ивановна.. Я опять глаза закрою, и опять ѣдемъ, ѣдемъ подъ солнцемъ жаркимъ, и какая-то птица звонко, звонко кричитъ... Иногда, бывало, барышня вырвется изъ каретѣ, вскочитъ въ бричку и давай тормошить меня: «Вставай, вставай ты поскорѣй, мнѣ безъ тебя скучно?» Случалося, что и сама барыня подойдетъ: «А что, Арина

Ивановна, что Игрушечка?» Меня, видите, Грушей звали. Говорятъ, какъ спрашивала барыня у моей матушки: «какъ твою дочь зовутъ?» — Грушечка — отвѣтила ей моя матушка. — «Грушечка! Грушечка!» подхватила барышня: «пусть будетъ она лучше Игрушечка!» Господа посмѣялись, имъ полюбилась кличка такая. Съ той поры и стала я *Игрушечкой* . . . .

Пріѣхали мы въ отчину, въ село Рогожино, и тамъ господа на житье поселились. Сначала на новомъ мѣстѣ все мнѣ смутно представляется. Я лежала долго больна въ избѣ душной, и поили меня какими-то горькими травами. Много людей въ той избѣ толпилось; они себѣ и ссорились и мирились, и охали и веселы бывали. Были они всѣ мнѣ чужіе. Я только на нихъ смотрю, бывало, а они на меня-то развѣ мимоходомъ глянутъ — тоже имъ дѣвочка чужая. Да и дѣла много у всякаго. Извѣстно, что дворня всегда въ суетѣ да въ бѣготнѣ. Хоть дѣла-то не велики, да лучше великихъ уходятъ. Изба эта была высокая, просторная — приходятъ бывало туда и самовары чистить, и пряжу мотать, и бѣлье стирать. Кто, бывало, въ людской не помѣстится, сюда ночевать идетъ. Называли всѣ эту избу *избой запасною*.

Вотъ только разъ, я лежу, — пріотворилась дверь, и кудрявая голова молодая выглянула.

— Что, всѣ ушли? проговорилъ высокій молодецъ, входючи въ избу.

—Всѣ, отвѣтила я ему.

— А ты что, дѣвочка, лежишь? ласково да весело такъ меня спросилъ.

— Больна, говорю.

— Ахъ, бѣдненькая ты, завезенная крошечка! выздоравливай-ка скорѣе!

И пошелъ себѣ, и веселый его голосъ смолкъ... Арина Ивановна ходила ко мнѣ всякій день и обѣдъ мнѣ изъ хоромъ приносила. Придетъ всегда сердитая, грозная: такой страхъ, бывало, на меня напуститъ... Какъ только стала я поправляться, тотчасъ меня опять къ барышнѣ привели и ужь съ этого дня безотлучно при ней держали.

Рядомъ съ дѣтской была Арины Ивановны горница, а подлѣ горницы маленькій чуланчикъ темный, узенькій, словно ящикъ, тамъ я спала. Какъ вспомню какіе тамъ на меня страхи находили! то представится мнѣ, что кто-то къ моему уху наклоняется — шепчетъ, то въ потёмкахъ мнѣ чьи-то глаза сверкнутъ, то чудится что-то щелкаетъ... Завернусь съ головою, въ старенькое жалованое одѣяльце, лежу, чуть дышу... И вспомнится мнѣ вдругъ, какъ меня матушка на руки брала, какъ меня голубила — больно сердчишко забьется, зальюсь слезами горючими... И долго, и горько плачу, пока ужь изъ силъ выбьюсь, засну. И приснится мнѣ матушка, я къ ней прижимаюсь крѣпко, я хочу ей все разсказать да пожаловаться, да приласкаться, а тутъ меня толкаютъ, будятъ; сонъ прогнали,—и ужь какъ я, бывало, эти сны отлетѣвшіе оплакиваю, словно живыхъ людей!

Арина Ивановна съ перваго взгляда меня невзлюбила, а еще пуще гнала за то, что барышня меня жалѣла, что, бывало, меня и шагу отъ себя не отпуститъ, а на Арину Ивановну: «Идите, идите, Арина Ивановна, мнѣ васъ не надобно; я буду съ Игрушечкой».

За то Арина Ивановна, гдѣ ни попадетъ, тамъ меня и и пристукнетъ. «Вотъ, твердитъ, вотъ не было печали! Ахъ, бѣсёнокъ ты этакой!» Сначала ужь очень она обижала меня, такъ что и барышня жаловалась барынѣ, и барыня сама Арину Ивановну усовѣщивала:

— Была у Зиночки козочка дикая, говорила: — былъ попугай у Зиночки, какъ вы за ними ухаживали, помните, Арина Ивановна? Что жь вамъ бѣдная эта Игрушечка сдѣлала? За что вы ее такъ гоните?

— Не гоню я ее, сударыня, а только мнѣ вотъ обидно, что хамку со мной равняютъ. Я хоть бѣдная вдова, да я родовая дворянка.

— Ахъ, милая Арина Ивановна! кто жь васъ съ нею равняетъ? Вы понимаете, это Зиночкина забава. Вы для Зиночки это сдѣлайте, не обижайте Игрушечку.

— Да Богъ съ нею! отвѣтила Арина Ивановна. Служила я всегда вамъ, кажется, и вѣрой и правдой, да вотъ, сударыня, чего дослужилась! Мнѣ заказъ дѣвченку поучить! Для васъ же, сударыня, я ее учила; не угодно вамъ — какъ изволите!

Мало мнѣ полегчало послѣ этого разговору. Рѣже, изподтишка, да больнѣе стала меня Арина Ивановна донимать. И за все стала ко мнѣ придираться. Пройду ли мимо: «иди-ка сюда, любимочка, киваетъ на меня гнѣвно, иди-ка! Ты это на радостяхъ что у меня голова болитъ бурею-то носишься?»

Говорю ей: барышня меня послала, за дѣломъ иду. «Вотъ тебѣ барышня! вотъ тебѣ!» Чашка ли, тарелка ли разобьется на другомъ концѣ дома — я отвѣчаю. «Твоихъ рукъ, говоритъ, не минуло!»

Хоть передъ нею плачь, хоть божись, она не послушаетъ; чаще молчишь, бывало... Да она и сама вѣрно знала, что напраслину взводитъ. Разъ она меня пилатила, пилатила, да ужь и сама мнѣ говоритъ: «Ахъ ты, безсчастная! и на что ты на бѣлый свѣтъ народилася?»

Однимъ вечеромъ сидѣли мы съ барышней въ дѣтской, играли на коврѣ, а Арина Ивановна въ своей комнатѣ

шила, и слышу входитъ къ ней кто-то; Сашинъ голосъ узнаю (дѣвушка была горничная Саша). «Арина Ивановна! говоритъ:—опять тростинскій мужикъ пришелъ, проситъ, чтобъ къ Игрушечкѣ его допустили.

— Какъ ты смѣешь мнѣ глупыя его слова мужицкія переносить? Сказала я ужь разъ ему, чтобъ убирался! Онъ у меня дождется радости, дождется! грозитъ.

— Да ужь очень онъ проситъ, Арина Ивановна, говоритъ Саша: — Игрушечкиной матери обѣщался, просила-то какъ она, сказываетъ; слезами обливалася: «Самъ ты посмотри на нее, да хоть разскажи мнѣ какая она стала!»

Я сижу, такъ и обмираю.

— Вотъ еще выдумки глупыя! отвѣтила Арина Ивановна еще сердитѣй. — Чего ты-то лѣзешь? Игрушечка съ барышней играетъ, барышню мнѣ что ли для васъ раздразнить?

— На часочекъ, Арина Ивановна: — онъ только отдастъ Игрушечкѣ гостинецъ, что̀ мать прислала да глянетъ на нее.

— Что еще за гостинцы тамъ? Принеси-ка сюда, я сама ей отдамъ.

Горько я тогда зарыдала. Барышня встревожилась, бросилась ко мнѣ — она играючи не прислушивалась. «Что̀, Игрушечка, что̀ такое!» добивается. Арина Ивановна вскочила въ дѣтскую.

— Что такое?

— Игрушечка, скажи! пристаетъ барышня.

— Прислала мнѣ матушка гостинецъ, жалуюсь: — не отдаютъ...

— Да что вы ее, глупую, слушаете? закипѣла Арина Ивановна: — вотъ я ей задамъ матушкинаго гостинца,

чтобы барышню не тревожила! Сейчасъ у меня перестань, негодница! нишкни! А сама ко мнѣ...

— Не смѣйте ее трогать! крикнула барышня. Какой гостинецъ сй прислали? гдѣ гостинецъ? сейчасъ ей отдайте! сейчасъ сюда принесите!

А изъ двери бородатое лице чье-то выглянуло. Арина Ивановна коршуномъ кинулась:

— Какъ смѣешь! Куда? И двери захлопываетъ.

— Да какъ же, матушка, отвѣтилъ ей кто-то изъ-за дверей протяжнымъ голосомъ: — далъ слово, держись... пускай сами господа разсудятъ...

Барышня оттолкнула Арину Ивановну и настежь дверь распахнула. Вижу, стоитъ мужичекъ въ сѣромъ армякѣ съ шапкой въ рукахъ; лице худое такое, борода длинная, смирный да добрый былъ съ виду.

— У тебя гостинецъ Игрушечкинъ? спрашиваетъ барышня. — Иди сюда, да отдай ей.

Мужичекъ барышнѣ низко поклонился вошедши, поглядѣлъ на всѣхъ, и на меня потомъ показалъ:

— Видно Груша? Поди-ка, Груша, сюда, говоритъ мнѣ: — поди, я по головкѣ поглажу.

И погладилъ меня по головкѣ. Арина Ивановна только глядѣла да думала, что бъ ей тутъ сдѣлать, барышни боялась да губы кусала; потомъ не въ мочь ей стало — вышла.

— Мать кланяется, говоритъ мнѣ мужичокъ: — помнишь мать-то еще? Ну, не плачь. И гостинчикъ мать прислала.

Вынулъ изъ-за пазухи мѣшечекъ и далъ мнѣ, а я тотъ мѣшечекъ крѣпко ухватила...

— Что жь отъ тебя матери-то сказать, а? спрашиваетъ мужичекъ, а я только плачу.

Арина Ивановна въ дверяхъ стала:

— Что жь, говоритъ: — скоро? ты прикащику нуженъ — иди.

— Ну, прощай, Груша! сказалъ мужичекъ. Не плачь, мать еще гостинчика пришлетъ.

— Я къ ней хочу... къ матушкѣ хочу! рыдаючи, я ему вымолвила.

— Ну, хорошо, хорошо, и къ ней пустятъ, только вотъ не плачь!

— Царица какая проявилась! загремѣла Арина Ивановна:— еще поблажку ей давать! Не видать тебѣ матушки своей, не видать! вскинулась на меня: — а ты, иди-ка, иди! гонитъ мужичка.

Погладилъ онъ еще по головкѣ меня и ушелъ. Арина Ивановна вслѣдъ за нимъ выбѣжала, и большой шумъ поднялся въ дѣвичей: то слышно крикъ — Арина Ивановна кричитъ, то протяжно мужичекъ говоритъ... Барышня сидитъ, свою губку прикусивши, и на меня поглядываетъ, а я свой мѣшечекъ развязываю. Въ томъ мѣшечкѣ были двѣ замашныя рубашечки, да глиняная уточка, да пряничекъ медовый...

— Покажи, покажи, Игрушечка, что тебѣ мать прислала, говоритъ барышня, подсаживаясь ко мнѣ, и такъ все оглядываетъ, осматриваетъ... Вошла Арина Ивановна и насмѣхаться стала:

— Ну, ужь рубашечки! Изъ паутиночки ткаы! да при господахъ и носить-то нельзя такихъ: дотронется какъ барышня, то и ручку себѣ обдеретъ. Дайте-ка я ихъ зашвырну куда подальше!

Ужь гдѣ у меня и сила взялася, гдѣ и храбрость! Не даю, борюсь.

— Арина Ивановна: — идите прочь! крикнула бары-

шня, идите прочь! И прогнала ее опять изъ дѣтской, сама опять подлѣ меня сѣла. Долго я надъ своимъ гостинцемъ плакала, а она все на меня поглядывала, призадумавшись. Переждавши, пришла опять Арина Ивановна.

— Что вы, Зенаида Петровна, такъ заскучали? спрашиваетъ барышню.

Барышня вздохнула и на меня пальчикомъ показала:

— Она все плачетъ по своей мамѣ; она къ своей мамѣ хочетъ!

— Да пусть себѣ хочетъ! Чего жь вамъ-то безпокоиться. Не хотите—не пустимъ, мой ангелъ, вы не безпокойтесь!

— А плачетъ?

— Мало чего нѣтъ! да вы вѣдь ее взяли себѣ въ забаву, вы ея госпожа, мое сокровище, что̀ съ ней захотите, то и сдѣлаете: плакать прикажете — плачь! прикажете веселиться — веселись!

— А какъ она не станетъ?

— Не станетъ! Да мы ее такъ проучимъ, что она у насъ шелковая будетъ!

— Мнѣ жалко Игрушечку!

— Вотъ то-то и есть, что вы все жалѣете! И проку изъ нея не будетъ... Вы не жалѣйте!

— Жалко Игрушечку! твердитъ барышня: — жалко Игрушечку!

— Говорю, перестаньте жалѣть — перестанетъ она и плакать, и всю ея блажь какъ рукой сниметъ...

Все это говорится, а я слушаю... слушаю, а слезъ не могу сдержать—льются...

Вотъ барышня личико насупила, бровки нахмурила, надула губки и подступаетъ ко мнѣ грозно:

— Игрушечка! чего ты скучная? Сейчасъ веселись!

Ну, веселись! Я тебѣ приказываю, я твоя госпожа — веселись!

— Ахъ, ахъ, голубчикъ вы мой! едва промолвитъ отъ смѣху Арина Ивановна. А я, глупый ребенокъ, слезами заливаюсь горькими.

— Веселись, Игрушечка, приказываетъ барышня: — веселись и маму свою сейчасъ забудь. Слышишь, что я тебѣ приказываю? Ну, забыла свою маму?

— Нѣтъ, говорю: — не забыла!

Арина Ивановна ко мнѣ:

— Да ты смѣешь ли такъ барышнѣ отвѣчать, а? что? Ахъ ты грубіянка! Велятъ тебѣ смѣяться — сейчасъ у меня смѣйся!

Смѣюсь я передъ ней, слезы свои горючія глотаючи...

— Ну вотъ видите, мой ангелъ, она и смѣется, утѣшаетъ барышню Арина Ивановна. А барышня глядитъ на меня такими-то пытливыми глазенками...

— Игрушечка? говоритъ: — какъ же ты и плачешь и смѣешься, а я вотъ не стала бъ.

— И, голубчикъ, равняетесь съ кѣмъ! ей на это Арина Ивановна. — Ей что прикажутъ, то она и можетъ.

— Вотъ, Игрушечка, ты какая! проговорила барышня: — вотъ какая!...

Съ той поры часто она бывало меня стращаетъ:

— Игрушечка, не скучай! Ты знаешь я все съ тобою могу сдѣлать; я тебя вѣдь баловать не буду — ну вотъ велю сейчасъ волка позвать и прикажу, чтобы тебя волкъ съѣлъ». Волкъ амъ-амъ! и съѣстъ, а я жалѣть о тебѣ не буду и отнимать у волка не буду. . . . . .

. . . . . .

Шло время да шло; и годъ прошолъ. Разъ, чѣмъ свѣтъ, будитъ меня Арина Ивановна. Я вскочила.

— Одѣнься поскорѣй, въ церковь со мною поѣдешь, говоритъ: — да по матери по своей панихиду отслужишь.

А я никакъ въ толкъ не возьму: голова у меня кругомъ пошла. Умерла? когда?...

—Чего смотришь? толкаетъ Арина Ивановна. Собирайся, говорятъ, скорѣе, пока еще барышня не проснулась.

Вертѣла она меня, и совала, и теребила, и все надъ ухомъ твердила: «Не помянешь покойницы матери, Богъ отъ тебя отступится».

Посадила меня съ собою въ бричку и повезла. Билось, билось мое сердце и замирало, будто я ждала кого-то... да все тихо по полямъ было, бѣлѣли они подъ росою, солнышко еще не всходило, изъ-за лѣсу холодноватый вѣтерокъ тянулъ.

Подъѣхали мы къ церкви. Вошли — церковь пуста; одинъ сѣдой пономарь прошелъ, крестячись да зѣваючи. Арина Ивановна прикладываться пошла къ образамъ и мнѣ махнула: «иди!» И я за нею пошла. Стали сбираться и священникъ и дьячки. Стали по матушкѣ моей панихиду служить. Я была словно въ какомъ-то туманѣ. Дымъ отъ ладану клубился, въ дыму свѣчи мерцали; два старичка-дьячки пѣли разбитыми голосами, и тихо ихъ пѣнье по церкви дребезжало. Арина Ивановна стояла впереди, все на меня оглядывалась и все мнѣ грозилась; чужіе люди въ церковь сбиралися на обѣдню, на меня смотрѣли, вздыхали и крестились... «Умерла матушка!»... думаю, а слезъ у меня нѣтъ...

Отошла и обѣдня. Народъ повалилъ изъ церкви и разсыпался по дорожкамъ да по тропинкамъ. Сколько голосовъ шумливо смѣшалося! Арина Ивановна около

церкви прощалась съ молодою дьячихой и на меня ей показывала:

— Вотъ, говорила, — приказала ей по матери панихиду отслужить. Безъ меня такъ бы покойницу мать и не помянула.

А дьячиха мнѣ на распѣвъ:

— Что жь тебѣ родной матери-то не жалко что ли? Ахъ, грѣхъ-то какой!

— А я ей еще и не говорила, долго все думала: вотъ разголосится; она и слезки не выронила. Силой почти и въ церковь-то привезла!

И дьячиха опять на распѣвъ:

— Ахъ, грѣхъ какой! Богъ васъ за это не оставитъ, Арина Ивановна, васъ Богъ не оставитъ!

Поѣхали мы домой... Солнышко уже высоко взошло. Опамятовалась я, и тогда-то ужь до сыта наплакалась. Боже мой! Господи! какая тоска мою душу сжала! какая печаль! А бричечка по дорогѣ турчитъ, катится. Арина Ивановна меня бранитъ да урекаетъ, да грозится: «Отчего въ церкви не плакала, полоумная! теперь только хватилась! Вотъ я тебѣ дамъ слёзъ!»

Барышня увидала меня, сейчасъ замѣтила.

— О чемъ Игрушечка плакала?

— У ней мать умерла, отвѣтила Арина Ивановна.

— Отчего умерла?

— Оттого, говоритъ Арина Ивановна, — что Игрушечка не слушается, что дѣвчонка злая, упорная, такъ вотъ Богъ у нея маму взялъ.

—А я-то не слушаюсь? промолвила барышня.

—Да вы барышня, какъ же вамъ съ нею равняться, мой голубчикъ!

— Мнѣ Богъ проститъ? спрашиваетъ барышня.

— Помолитесь хорошенько, то и проститъ, мое сокровище: Богъ милостивый, Богъ всѣхъ любитъ.

— А Игрушечку не любитъ?

— Ну, Игрушечка глупая, упрямая, за то и Богъ не любитъ ея, за то и наказываетъ.

— А добрымъ все можно? Богъ ихъ ни за что не наказываетъ? Никогда?

— Никогда. Добрый человѣкъ хоть и согрѣшитъ, то все такъ себѣ... а злой человѣкъ все по злости дѣлаетъ, вотъ и нѣтъ ему прощенія.

—Смотри жь, Игрушечка, говоритъ мнѣ барышня,— ничего не дѣлай по злости, будь добрый человѣкъ, все тогда тебѣ можно и все тебѣ Богъ проститъ. . . . . .

. . . . . .

Господа наши жили и весело и шумно. Гости почти со двора не съѣзжали. Домъ былъ высокій, помѣстительный, веселый: на горѣ стоялъ. Кругомъ дома все сады, цвѣтники, теплицы, и широкая лѣстница каменная подъ гору, а подъ горою рѣчка бѣжала, на рѣчкѣ пристань съ флагами для причалу, и плавали лодки подъ парусами, а на парусахъ гербы барскіе вышиты. За рѣкой, по горѣ отлогой, чернѣлись избушки, а на самой вершинѣ рѣденькій березовый лѣсочекъ зеленѣлъ; а тамъ, куда ни глянь, далеко–далеко чистое поле стелется, ровное.. Часто, бывало, господа и наши и чужіе глядятъ на ту гору, на избушки ветхенькія — которая покосилась, другая въ землю вростаетъ, — глядятъ да другъ другу говорятъ: «Вотъ, говорятъ, русскій настоящій видъ! Только у насъ такіе виды печальные!» Чей–то баринъ, усатый да плечистый, все, бывало, при этомъ себя въ грудь билъ руками: «родное, родное!» приговариваючи. Очень онъ яро это приговаривалъ.

Господа наши были молоды. Нашу барыню всѣ красавицей величали. Такая была высокая да статная, чернобровая, бѣлая, только лѣнивая. Господи! какая она ужь лѣнивая-то уродилася! И глянетъ на тебя-то въ полглаза. Всей работы у нея было, всего дѣла, что изъ горницы въ горницу плаваетъ, склонивши головку на бокъ, и длиннымъ своимъ платьемъ шелковымъ шуршитъ. Оживится немножко она развѣ какъ гостьи наѣдутъ, говорливыя, да веселыя, да осудливыя. Поднимутъ на зубки и чепчики разные, и генеральшу московскую, поахаютъ объ городѣ Парижѣ да побранятъ свой уѣздъ,—тогда и наша барыня головку поднимetъ и заговоритъ себѣ громче. Баринъ поживѣе ея былъ, веселыя пѣсенки все пѣвалъ да насвистывалъ. Говорили, что не башковатъ онъ, ну да за то смиренъ былъ; съ барыней они жили согласно. И она была барыня добрая. Никого они не карили, не казнили, они и сердиться-то рѣдко сердились. Приди кто изъ людей съ какою просьбою къ нимъ—ничего, не выгонятъ, развѣ только пускать не велятъ, коли докучило, или пообѣщаютъ да не сдѣлаютъ — забудутъ. Жили, да поживали наши господа довольны да веселы, мирны да спокойны. Вотъ это сидятъ, бывало, въ гостиной; баринъ свиститъ, а барыня глазками по горницѣ поводитъ, и вдругъ ей въ голову пришло: «Мой другъ», говоритъ барину, «а вѣдь голубые-то обои были бы лучше въ гостиной!» Баринъ такъ и вскочитъ горошкомъ. «Душечка! какая мысль тебѣ хорошая пришла! Гдѣ у меня-то разсудокъ до сихъ поръ былъ?» И давай себя по лбу ляскать... «Ну, такого дѣла откладывать нечего, сегодня же въ городъ пошлемъ, а къ воскресенью чтобы все готово было». — «Да, да!» подхватитъ барыня,— «пріѣдетъ Анна Петровна и Клавдія Ивано-

вна, — вотъ удивятся-то, а ужь Анна Ѳедоровна такъ разсердится, что за обѣдомъ ничего ѣсть не станетъ. Непремѣнно къ воскресенью, мой дружокъ!» И примутся хлопотать, примутся суетиться. Въ страхѣ эти дни живутъ: все имъ чудится, что кареты во дворъ въѣзжаютъ. «Охъ, кто-то пріѣхалъ, кажется!» говорятъ, а сами въ лицѣ мѣняются. Удивить хотятъ, видите, и вдругъ, еслибъ застали, что стѣны ободраны. А иныхъ тревогъ, другихъ заботъ у нихъ, кажись, и не бывало. Никогда я не видала, чтобы баринъ нашъ призадумался, чтобы барыня всплакнула — нештò безденежье, или барышня захвораетъ. А безденежье ихъ часто пристукивало. Любили они оба и жить роскошно и наряжаться богато. Барыня все шелковыя розовыя платья носила, да въ тонкихъ кружевахъ ходила. Баринъ тоже щеголь великій былъ: шейный платочекъ все голубинымъ крылушкомъ завязывалъ, да бывало иной разъ съ утра до самаго обѣда бьется и не сладитъ. «Вотъ день-то несчастный выдался!» вздохнетъ; «никакъ не слажу!» И барыня къ нему тутъ на помочь придетъ, и Арину Ивановну кликнутъ, да словно къ вѣнцу прибираютъ: всѣ около него въ заботѣ такой, въ хлопòтахъ. А ужь какъ вырядится онъ— такимъ брындикомъ выйдетъ, передъ зеркалами останавливается, да такъ пріятно на себя поглядываетъ и рукой все себя по щекѣ поглаживаетъ... Это еще все бы не разоръ былъ, еслибъ только не мѣняли они всего до ниточки каждый годъ по скольку разъ. Мало ли на одинъ домъ шло? И къ Рождеству, и къ Святой, бывало, весь обновляютъ. И какъ ужь весело тогда баринъ хлопочетъ! Самъ картины прибиваетъ... Вѣдь чудно покажется, какъ сказать, а скажу правду: до страсти любилъ онъ гвоздики вбивать, и случись, что по усердію

кто ему этимъ услужить поспѣшитъ, то такъ огорчится.. Потомъ ужь всѣ такъ и знали, сами не брались никогда, а ему приготовятъ молоточекъ. И правду тоже надо сказать, что ужь никто такъ гвоздика не вобьетъ: такъ онъ наловчился, что только глянетъ и потрафитъ куда надо гвоздику. Поѣдутъ ли въ городъ господа, чего они не накупять! И самоваровъ навезутъ и сушенаго горошку, а дома подъ самоварами въ кладовой полки ломятся, и горошку садовники на цѣлый годъ запасаютъ; понавезутъ они обои штофные, какихъ-то рыбокъ горькихъ въ банкахъ, табакерки съ музыкой.... Разнощики ли наѣдутъ — купцы хитрые, зоркіе, — сколько они денегъ оберутъ! «Не берите, батюшка», говорятъ барину, «это оченно дорогое, вы вотъ себѣ подешевле возьмите». Барина словно подожжетъ: «Подавай мнѣ самое дорогое!» Да и купитъ такое жь самое въ три дорога. Еще, бывало, и сдачи не возьметъ. И поглядываетъ на купцовъ бородатыхъ: вотъ я вамъ пустилъ пыли въ глаза! а купцы отъ радости даже вздыхать почнутъ... А какъ имянины справляютъ или рожденіе? Пойдутъ тутъ сборы да приборы такіе, сохрани Боже! И вина выписываютъ, и конфеты выписываютъ, и шаль и чепчикъ барынѣ, и шейный платочекъ, и желтыя перчатки барину... «Да ужь кстати, будутъ посылать, говорятъ, то выписать и то, и вотъ это бъ выписать», и пятое и десятое... Да такъ наберется, что на почту телѣгу надо посылать... Хоть много имъ утѣхи на именинахъ бывало, да много жь и хлопотъ, и тревогъ не мало: вѣдь совсѣмъ измучатся, пока отбудутъ, ходючи да думаючи тяжко: что̀ лучше къ обѣду подать? да какъ цвѣты уставить? да чѣмъ генеральшу бъ удивить и покойнаго ее сна лишить? Изморятся бывало, словно на

барщинѣ. А никому ужь столько дѣла тогда не бывало какъ Аринѣ Ивановнѣ. Еще недѣли за двѣ ее въ городъ туряютъ: то одно забыли, то другое вспомнили, а тамъ ужь ей дома бѣда начинается. Только она утромъ глаза откроетъ, ужь ей поварёнокъ изъ двери чашку просовываетъ: «пожалуйте муки!» Выглядываетъ птичница; молочница тоненько покашливаетъ, чтобы не очень разсердить...

«Охъ, нѣтъ на васъ пропасти!» кричитъ Арина Ивановна. — «и Богу-то помолиться не дадутъ порядкомъ!» Наскоро перекрестится, накинетъ платокъ на плечи, и цѣлый день бѣгать ей, да хлопотать, да сердиться... Господа тревожились, да и веселились, а Аринѣ Ивановнѣ на званыхъ-то обѣдахъ, надо думать, ей не очень весело бывало: сидитъ она себѣ въ самомъ концѣ стола въ своемъ чепчикѣ, съ желтыми лентами, и никто на нее и не глянетъ, никто съ ней не заговоритъ, нештò воды налить попроситъ... Присмирѣетъ она тогда и словно запечалится, задумается... а гости такъ и жужжатъ около нея за столомъ...

Пиры у господъ за пирами, а тутъ глядь—денегъ нѣту. Вотъ сядутъ тогда они въ гостиной и сидятъ, пріуныли. Одинъ въ окошко глядитъ, другой въ другое; «ахъ-ахъ-ха-хъ!» ахаютъ. А прошла бѣда, продали или заложили деревеньку, денежки зазвенѣли опять, и опять обѣды званые, гости нахлынули, пиръ горой, и весело живется, и хорошо имъ.

На эти пиры, на угощенія много деревень съ рукъ сплыло... И Тростино мое родное. Кажись, вѣдь ни роду, ни племени тамъ у меня, да и ни лица-то знакомаго, а жалко-жалко было, и слезно я плакала, и живѣй мнѣ былое время припоминалось...

— Игрушечка! о чемъ ты плачешь? спрашиваетъ барышня. — Полно оглядываться, не бойся никого, говори!

А я оглядываюсь, не слушаетъ ли гдѣ Арина Ивановна.

— Скажи, о чемъ плачешь?

— Такъ, говорю.

— Игрушечка, милая, скажи мнѣ, какое твое горе? говоритъ, а сама мнѣ ручку на плечо положила и въ лице мнѣ заглядываетъ.

— Ахъ барышня, барышня! отвѣчаю. — И на что вамъ знать, что̀ мое за горе!

— На то знать, что мнѣ тебя очень жалко, Игрушечка! говоритъ.

Я на нее поглядѣла. Глаза у ней такіе тихіе и личико отуманилось.

— Барышня, милочка! продали Тростино!

— Какое Тростино, Игрушечка?

Она и не знаетъ. Вотъ я ей разсказываю, и жалуюсь, и плачу, а она все мнѣ: «Говори, говори, Игрушечка!»

— Да что̀ жь больше говорить? Я все надѣялась, все ждала, авось когда поѣдутъ господа въ Тростино,—хоть гляну, да вспомню былое, — а теперь продано, не видать мнѣ его и не слыхатъ объ немъ!

— На что̀ продали Тростино, Игрушечка? Ты не знаешь?

— На пиры деньги понадобились, то и продали, отвѣчаю. — Такъ я въ дѣвичей слышала, толковали. Кто-то въ нашей избушкѣ жить теперь будетъ!

Хоть Арина Ивановна дразнитъ меня, бывало, что избушка наша давнымъ-давно завалилась, я хоть часто плакала отъ ея словъ, а все не вѣрила ей. Мнѣ казалось, что и ветшать-то избушкѣ той не приходится. А барышня слушаетъ мои рѣчи да задумалась, задумалась.

Сидѣла она на коврѣ, ручкой головку подперла, и въ какихъ-то мысляхъ тихихъ и важныхъ.

— О чемъ, барышня, вы задумалися? спрашиваю.

— Такъ, обо всёмъ, Игрушечка.

— Да о чемъ же обо всемъ?

— Да такъ, отвѣчаетъ, — какъ это все на свѣтѣ дѣлается!

— Да что?

— Игрушечка, говоритъ,—ты замѣчаешь ли, что когда одни плачутъ, другіе смѣются; одни говорятъ одно, а другіе опять совсѣмъ другое... Вотъ ты плачешь, что Тростино продали, а мама и папа всегда въ радости, когда деньги получаютъ... а Игрушечка? — Да вдругъ въ тревогѣ такой ко мнѣ: — Да нельзя развѣ, чтобы всѣ веселы были? Нельзя, Игрушечка?

— Видно нельзя, говорю.

— Отчего жь?

— Да не бываетъ такъ... вотъ вѣдь и мы съ вами, все мы вмѣстѣ, а мысли у насъ разныя приходятъ...

— Да отчего жь такъ? отчего?

Я что сказать ей, не знаю...

Тутъ Арина Ивановна шасть въ дѣтскую, мы смолкли.

— О чемъ щебетать изволили, сокровище мое? спрашиваетъ у барышни.—Ужь не сердитесь ли, мой голубчикъ? щечки-то у васъ горятъ.

Барышня ей ни слова въ отвѣтъ и отошла отъ нея.

— Да что жь это вы отъ меня таитесь, голубчикъ мой, отъ своей Арины Ивановны-то? Скажите, скажите!

— Арина Ивановна! я вамъ не хочу ничего говорить, отвѣтила ей барышня и строго такъ-то на нее глядитъ и прямо, что смѣшалась Арина Ивановна. Не прибрала что сказать, что сдѣлать, да на меня напустилася:

— Погоди, погоди ты, змѣйка! грозится; — я вотъ барынѣ все скажу; я тебя на свѣжую воду выведу, погоди!

И побѣжала къ барынѣ.

— Барышня, говорю: — что мнѣ дѣлать? Нажалуется на меня Арина Ивановна.

— Не бойся, Игрушечка, я за тебя заступлюсь.

Двери отворяются, барышня еще мнѣ кивнула — небойся. Вошла барыня, за нею баринъ, и сѣли по кресламъ и смотрятъ на барышню и на меня, а Арина Ивановна изъ-за дверей головку выставляетъ, точно змѣя жальце свое. Господа поглядѣли, поглядѣли, и спрашиваютъ у барышни:

—Зиночка! что такое было? О чемъ ты съ Игрушечкой говорила? Поди ближе и скажи мамѣ.

— Говорили, что одни люди плачутъ, а другіе люди веселы...

— Что дружочекъ?

Удивилась очень барыня, и баринъ во всѣ глаза глядитъ, а барышня опять:

— Что одни люди смѣются, а другіе въ слезахъ.

Барыня съ бариномъ переглянулись и оба на барышню посмотрѣли.

—Ну, скажи, мама, заговорила барышня, — скажи мнѣ, отчего это такъ на свѣтѣ?

Вскочила она къ барынѣ на колѣни, обнимаетъ и прижимается къ ней, и въ глаза ей глядитъ — ждетъ слова отъ нея завѣтнаго, а барыня ей въ отвѣтъ:

—Умныя дѣти, мой дружочекъ, никогда не плачутъ.

—А бываетъ же скучно, мама, и умнымъ, бываетъ чего-то больно, будто и скучно...

А барыня: «Умныя дѣти, дружочекъ мой, всегда веселы».

—Ахъ, Боже мой, какая ты, мама! Ну глупые скучаютъ, плачутъ — развѣ ужь тебѣ ихъ совсѣмъ и не жалко?

— Глупыхъ дѣтей наказываютъ, Зиночка, отозвался баринъ, взявши себя за подбородокъ, — и они сейчасъ умнѣютъ...

—Да Зиночка у насъ умница, говоритъ барыня, — она никогда у насъ не скучаетъ, никогда не плачетъ. Это какой-то мужичокъ иногда приходитъ, подъ окномъ у нея плачетъ, а Зиночка умница.

Поднялись и пошли себѣ. Выходя, говоритъ барыня Аринѣ Ивановнѣ:

— Вы напугали меня, Арина Ивановна, я думала Богъ знаетъ что̀ такое, а вышло пустяки такіе, что даже и понять-то трудно...

—Да вы напрасно Игрушечку не изволили допытать...

—Полноте, Арина Ивановна, пусть себѣ болтаютъ что̀ хотятъ. Зиночка у насъ умница! Зиночка умница! къ барышнѣ опять обращается барыня...

А у хваленой умницы такіе-то глазки печальные да тоскливые, что вотъ-вотъ слезы покатятся, и вздохнула она тяжело...

Арина Ивановна все не спокойна была и долго она меня послѣ этого душила: скажи да скажи, о чемъ тогда говорила съ барышней.

Барышня все больше ко мнѣ привыкала. И то сказать что мы вѣдь все вмѣстѣ съ нею были. Утромъ, бывало, проснется барышня, одѣнетъ ее Арина Ивановна и поведетъ къ господамъ здороваться, и я за ними слѣдомъ иду. Господа за чаемъ сидятъ. «А, Зиночка пришла! А ну, Зиночка, присядь!» говоритъ барыня, а баринъ какое-то чудное слово, не русское, велитъ ей ска-

зать. Послѣ того барышнѣ чаю нальютъ, а мнѣ окрайчикъ хлѣба бѣлаго кинутъ, да и отпустятъ насъ въ дѣтскую. Случится ли, что господа сами въ дѣтскую придутъ, то не на долго. Сядутъ да и смотрятъ на барышню, любуются, усмѣхаются. «Любишь меня, Зиночка?» спроситъ барыня. — «Люблю», отвѣтитъ барышня. — «А меня, Зиночка?» спроситъ баринъ. — «И тебя люблю». — «Смотри-ка ротикъ у ней какой миленькой!» поймаетъ барыня за бородку барышню да и кажетъ барину.—«А глазки? отвѣтитъ баринъ, — а ручки-то? а ножки-то?»

Обцѣлуютъ ручки, и ножки, и ротикъ, и глазки, и уйдутъ себѣ...

Арина Ивановна день-деньской хозяйствомъ занята, одни мы себѣ въ дѣтской играемъ... Барышня скоро отъ игрушекъ отстала — развѣ ужь какую мудрёную очень купятъ, что или звенитъ, или вертится,—развѣ такая ее забавитъ; станетъ она доходить, какъ это все сдѣлано да сложено. Любила барышня больше размышлять, да говорить, да слушать. Бывало, подсядетъ ко мнѣ: «Игрушечка, скажи мнѣ, какъ ты прежде жила?» Я ей разсказываю, что̀ помню, а она сидитъ смирнехонько, тихохонько и, ушки навостривши, слушаетъ, слушаетъ... И объ чемъ ужь она ни разспрашивала: какъ землю копаютъ, и какъ конопли растутъ, и какъ ихъ берутъ, и какъ крыши кроютъ, и какъ холстъ ткутъ... Ну, я-то что̀ сама слышала, что̀ на мой глупый разумокъ дѣтскій взбредетъ, то и горожу ей, бывало. А она такъ все замѣчаетъ; глаза у ней такіе пристальные, внимательные— точно ей вотъ это все не ноньче, завтра надо самой и умѣть, и дѣлать... И случалось, что такъ меня обниметъ она крѣпко, и говоритъ мнѣ: «Игрушечка? я бъ сама не

дошла, какъ все это дѣлается. Кто жь у васъ додумался, Игрушечка?» —Да я не знаю, говорю ей, кто додумался, а всѣ у насъ умѣютъ. — «Можетъ, твоя мама, Игрушечка?» — Можетъ, говорю.

Прелюбопытная, препытливая была барышня. Бывало, какъ на нее найдетъ — засыплетъ разспросами да вопросами: на что̀ это? какъ то? почему такъ? зачѣмъ этакъ? Ну, барыня была лѣнива, чтобъ ей что̀ толковать, сейчасъ на нее тоска нападала: «На тебѣ конфетку, Зиночка, да иди себѣ играй, мой другъ?»

— Я не хочу твоей конфетки, а ты мнѣ разскажи то и то! говоритъ барышня.

Помню, одинъ разъ спрашиваетъ она: «Мама, отчего всѣ птицы не говорятъ?» Барыня ужь видитъ къ чему дѣло клонится, — вздохнула тяжело.

— Вотъ, говоритъ, — вотъ, Зиночка, ты ужь опять пошла съ разспросами!

— Да ты скажи, отчего всѣ птицы не говорятъ?

— Не умѣютъ.

— Отчего жь попугай умѣетъ?

— Попугай ученый.

— Отчего другихъ не учатъ?

— Ахъ, мой дружочекъ, кто жь ихъ знаетъ! Вотъ у мамы голова ужь болитъ. Въ Москвѣ, кажется, ученыхъ птичекъ продаютъ, поѣдемъ—я тебѣ куплю. А сама къ дверямъ наровитъ. Барышня за Москву ухватилась.

— Постой, мама, гдѣ Москва?

— Далеко, мой другъ, очень далеко — пусти меня.

— Какая это Москва? разскажи.

— Большой городъ; много игрушекъ, много конфетъ продаютъ для умныхъ дѣточекъ.

— А еще что̀?»

— Улицы большія, дома,—пусти, дружочекъ!

— А кто Москву построилъ?

— Не знаю, мой ангелъ, ей Богу не знаю. Да тебѣ-то на что, ктобъ тамъ ее ни построилъ?

Барышня все за полу держитъ, задумалась и вздохнула. «Ахъ, мама, говоритъ, — отчего это ты все не знаешь да не знаешь!»

А барыня ей: — «Одному Богу извѣстно въ кого ты любопытная такая!

— Мама! гдѣ Богъ?

— Ахъ, дружочекъ! отвѣтила барыня въ тоскѣ великой:—да на небесахъ, а то гдѣ жь?

—Какъ же у него тамъ на небесахъ?

А барыня проворненько юркъ за двери. «Арина Ивановна! кличетъ:—идите, займите чѣмъ-нибудь Зиночку.

Барышня и на глаза Арину Ивановну не пустила. Зашла себѣ въ уголокъ и заплакала. Потомъ къ барину побѣжала.

—Папа! скажи мнѣ, какъ у Бога на небесахъ?

А баринъ сидѣлъ себѣ въ креслахъ, какія-то картиночки переглядывалъ посвистываючи; вдругъ, откуда ни возьмись барышня, какъ изъ-подъ земли, передъ нимъ: «Скажи, какъ у Бога на небесахъ!» а у самой слезы такъ и льются. Баринъ совсѣмъ оторопѣлъ.

—Оленька! Оленька! кричитъ барынѣ:—дай Зиночкѣ конфетъ.

—Я не хочу конфетъ, рыдаетъ барышня: — ты скажи, о чемъ спрашиваю!

Баринъ ее за головку взялъ. «Не болитъ головка?» спросилъ.

—Ну хоть скажи, кто Москву построилъ? пристаетъ барышня:—разскажи мнѣ хоть что-нибудь!

И такъ молитъ его: ручки сложила, припадаетъ къ нему. Баринъ пощурился, пощурился на стѣны да вспомнить видно не вспомнилъ ничего.

— Давно кто-то построилъ. Теперь ужь забыто кто.

— Какъ же это забыто, папа? И все забываютъ?

— А ты какъ же думала? Развѣ все можно упомнить?

— О, папа! говоритъ ему:—мнѣ жалко забывать! Я бы все хотѣла знать и не забыть.

— Да что тебѣ пришло въ голову, кто Москву строилъ? На что тебѣ?

— Такъ; знать хотѣлось кто и какой былъ тотъ, что строилъ—сильный, большой?

— Не знаю, смѣется баринъ:—вѣдь я его не видалъ. Можетъ, великанъ, а можетъ, съ тебя. Хочешь я тебѣ картиночку подарю—Москва представлена.

Поискалъ межъ книгами и далъ ей картиночку? «Вотъ тебѣ Москва, поди-ка, разсмотри въ дѣтской».

Барышня пошла отъ него. Подержала въ рукахъ картиночку и отшвырнула отъ себя на полъ. Поплакала себѣ еще потихоньку и притихла—задумалась, а играть того вечера ужь со мною не играла.

И часто она вотъ такъ-то всѣхъ дивила. Что дальше, то все она пытливѣе да привязчивѣе, тутъ еще захворала, да нравная такая стала, ничѣмъ ей не угодитъ никто. Арина Ивановна ей и вареній и печеній, господа игрушекъ — «не надо! не хочу!» И отъ всего отворачивается.

—Да чего жь ты хочешь, Зиночка? спрашиваютъ у ней господа.

— Говорите со мной!

— Ну что жь? О чемъ?

— Обо всемъ!

Тяжело барыня вздыхаетъ, глядючи на барина, а баринъ въ отвѣтъ плечами пожимаетъ — оба не придумаютъ, какъ тутъ горю помочь. Нанесла ей разъ барыня картинокъ разныхъ, и рада была что барышня занялась ими, — а тутъ бѣда вышла. Попалась барышнѣ картинка — гора огненная: «Что̀ это? отчего огонь?» — Это гора огненная, говорятъ. «Что̀ значитъ огненная? Отчего бываетъ огненная?» —Изъ земли огонь выходитъ. «Отчего выходитъ?» — Такъ, такая ужь гора. «Какъ такъ? Ну пусть у насъ огонь изъ горы выйдетъ». И пристала: «скажи отчего огонь», и плачетъ, и кричитъ. Барина позвали... «Зиночка, говоритъ баринъ: — есть, дружочекъ, такія горы, что вспыхиваютъ; онѣ далеко — а у насъ горы простыя». Разсказалъ-то баринъ хоть не понятнѣе, да видъ у него былъ важнѣй, чѣмъ у барыни. Ну, а барышня все-таки свое: «Скажи, отчего огонь у насъ не вспыхиваетъ, отчего тамъ вспыхиваетъ?» Баринъ и осерчалъ немножко: «Что это, Зиночка, пристала! Ты всѣхъ насъ замучила».

Она ничего не слушаетъ, разлпвается — плачетъ. Да стала еще къ тому хворать и шибко росла, просто не по днямъ — по часамъ росла... и все чуднѣй становилась. То бывало по цѣлымъ днямъ шумитъ, ко всѣмъ придирается, привередничаетъ, и того хочу, и другаго хочу — ей всѣмъ угождаютъ,—тогда она все бросаетъ: «Не надо! мнѣ скучно!» и плачетъ... А то бывало такъ: сидитъ она цѣлый день не шевельнется — думаетъ, и какъ примется глядѣть куда съ утра, то до вечера глазъ не отведетъ, на стѣну ли, въ окно ли смотритъ, и не видитъ, а говоришь съ нею — не слышитъ. Чаще да чаще стало на нее находить... Господа очень сокрушалися: и покою съ нею нѣту и что̀ изъ нея выйдетъ, одинъ

Богъ вѣсть. Давно еще они поговаривали, что надо Зиночкѣ учиться, пора, да все сбирались выписать ей учительницу, а тутъ ужь они мѣшкать и откладывать не стали и говорятъ барышнѣ: «Зиночка! къ тебѣ скоро тётя славная пріѣдетъ, станетъ тебя учить, — ты будешь умница? Ты ее слушаться будешь?»

— Не знаю, отвѣчаетъ барышня.—Она-то меня тоже будетъ слушаться? Когда я буду о чемъ спрашивать, она отъ меня не уйдетъ какъ ты? говоритъ.

— Нѣтъ, мой дружочекъ она всегда съ тобой будетъ, ублажаетъ барыня: — она тебя всему научитъ и ты будешь умная, умная дѣвочка.

— Такъ я буду ея слушаться! вскрикнула барышня. А когда жь она пріѣдетъ?

— Скоро.

Барышнѣ ужь загорѣлось: что не ѣдетъ да что мѣшкаетъ. Ждетъ не дождется своей учительницы. Только у ней и рѣчи что объ ней. «Игрушечка! говоритъ мнѣ:— ты рада ей будешь? Очень рада ты ей?»... Не разсудитъ, какая жь мнѣ-то радость? И кто ее знаетъ какова пріѣдетъ...

Пріѣхала Нѣмочка выписная. Смирная такая, молоденькая, бѣленькая, и рукодѣльница великая: никогда она безъ работы не сидѣла. Въ будни шьетъ, въ праздникъ чулокъ вяжетъ, и такъ вяжетъ на память, не глядя на спицы, а сама книжку читаетъ. Барышня ее встрѣтила съ радостью такою—такъ ей въ глаза и смотритъ. Принялась она за ученье нѣмецкое, — что и засыпаетъ твердитъ уроки да слова нѣмецкія. И скоро все понимать стала. Слушаючи, и я себѣ словцо-другое запомнила. Только не надолго наша барышня къ Нѣмочкѣ прильнула, не по ней она была совсѣмъ — всего боя-

лась, на всемъ запиналась, мѣшалась; а барышня — къ огню ее можно приподобить — такая была; еще жь и хворая — такъ гнѣвная и нетерпѣливая. Начала барышня Нѣмочку гнать.

— Барышня, спрашиваю: — за что вы все на Нѣмочку сердитесь?

— Ахъ, Игрушечка! отвѣчаетъ, ручки свои сжавши: — она меня измучила! Я бъ ее и видѣть-то не хотѣла!

— Да за что жь такъ?

— Ахъ, Игрушечка! ты еще не знаешь какая она мучительница! Прошу ли ее: погодите читать, разскажите мнѣ вотъ это, нѣтъ, никогда не позволитъ. Что мнѣ придетъ въ голову, такъ захочется знать поскорѣй, поскорѣй, а она: пишите! урокъ учите! Я плачу, я прошу — нѣтъ, никогда не послушаетъ, не пожалѣетъ! Я бъ ее очень любила, а теперь видѣть не хочу!

«Ну, думаю, на тебя трудно угодить! Съ тобою надо умѣючи, да умѣючи! А Нѣмочка сама только что изъ дѣтей выходила, гдѣ ей съ такой быстроумкой справиться; да и отъ природы она тиха была очень и смирна и плоха таки немножко. Нѣмочкѣ тоже не весело приходилось, частенько, бывало, всплакнетъ. Всѣмъ въ домѣ ее жалко было. Прежде Арина Ивановна очень косо на нее глядѣла, а тамъ видитъ, что Нѣмочка и водой не замутитъ — утихла, только сердилась на нее, что по праздникамъ работаетъ: « Черезъ эту безбожницу, говаривала, и намъ еще бѣда будетъ! того и гляди, что или пожаръ или громъ ударитъ, что у насъ Господни праздники не соблюдаются! » Да, слава Богу, случая не было никакого. И то сказать, какой это грѣхъ работать? И сложа руки спасенья вѣдь не захватишь! И часто, бывало, Арина Ивановна

спрячетъ у Нѣмочки работу въ праздникъ — та ищетъ, тревожится, не найдетъ никогда, вотъ и празднуй, хочешь не хочешь; а въ постъ не даетъ ей сливокъ къ кофею... Нѣмочка все ничего, развѣ поплачетъ втихомолку. Что дальше, то бѣдной Нѣмочкѣ хуже: барышня ужь и вправду глядѣть на нее не хочетъ. Увѣщала ее барыня, а у барышни весь отвѣтъ: «отошли ее, мама, я ее не хочу видѣть!» Разъ, барышня ужь почивала, кличетъ меня Нѣмочка, проситъ воды. Я ей воды подала, вижу, что у ней глаза опять заплаканы. Я и спрашиваю, то словомъ, то знакомъ, какъ умѣю, о чемъ она плачетъ? Залилась Нѣмочка слезами да рукою показываетъ на дѣтскую, «сердитая», говоритъ.

—Нѣтъ, говорю я ей, — она не сердита. Хочу ей растолковать да не съумѣю.—У васъ же дѣти какія? спрашиваю. Она меня поняла. Сѣла прямо и чинно на стулѣ, глазки опустила и начала спицами перебирать проворно.—Послушные, рабочіе дѣти у васъ? говорю. «Да, да!» отвѣчаетъ и пуще въ слезы.

Еще она у насъ пожила, потерпѣла и попросилась, чтобъ ее отправили. Ее и отпустили. Барышня сначала, кажись, и рада очень была, что Нѣмочка ѣдетъ, а при прощаньи вдругъ затосковала, крѣпко такъ Нѣмочку цѣловала и все на нее глядѣла, глядѣла, глазъ не сводячи. Всѣ въ домѣ объ Нѣмочкѣ жалѣли, а забыли ее скоро тоже всѣ. Добра вотъ была и привѣтна, да чужа какъ-то: ни она по насъ, ни мы по ней не пришлись.

Долже всѣхъ ее барышня помнила и разъ мнѣ говоритъ: «Игрушечка, всегда Каролина Карловна такая будетъ?»

— Какая? спрашиваю.

— Часовая.

— Какъ часовая?

— Да все у ней по часамъ, и сонъ и слова.

— Да, вашей бурливости отъ нея не дождаться, смѣюсь, а барышня стоитъ и о чемъ-то раздумываетъ.

На мѣсто Нѣмочки привезли ей Француженку, крошечную бабеночку, вертлявую, носикъ у ней ястребиный, глазки такъ и бѣгаютъ. Все она тихонько покашливала и ходила по горницамъ, высокими каблуками постукиваючи. А кланяться она такъ кланялась, что ни къ кому спиной не оборачивалась. Барышня ждала ее — не радовалась: «Не пріѣдетъ такая ко мнѣ, какъ я хочу!» говорила мнѣ, и встрѣтила Француженку угрюмо, да та ее сразу озадачила: бросилась обнимать, цѣловать, схватила на руки, зачастила словами, по-русски она говорила куда смѣшно. На другой день Француженка въ куклы стала съ барышней играть и усы себѣ навела чернилами, — барышня все не поддается ей, только улыбается, будто не хотя, и глядитъ на нее пытливо, и говоритъ мнѣ: «Игрушечка! какіе разные люди-то бываютъ!» Билась, билась Француженка, все барышня дичится. Вечеромъ вижу, Француженка манитъ меня изъ дверей къ себѣ. Иду. Она меня по щекѣ потрепала и даетъ мнѣ старенькую ленточку, а сама шепчетъ: «Слушайся меня, я тебя буду дарить». А я молчу. «Ты всегда съ барышней?» спрашиваетъ.—Всегда. «Какъ же вы играете, что барышня любитъ?» — Разговаривать любитъ. «Какъ такъ?» — Любитъ, говорю, чтобъ разсказывали ей все, а она чтобъ слушала. «Хорошо, хорошо, шепчетъ мнѣ, — говори мнѣ все, что знать будешь, я тебя всѣмъ обдарю. Смотри жь, никому о томъ не скажи». И махнула рукой: «иди.» Я пошла отъ нея да и думаю себѣ, барышнины слова вспоминаю, что какихъ-то людей на свѣтѣ нѣтъ!

На другой день Француженка въ такіе разсказы пустилась; безъ умолку говоритъ, говоритъ—барышня слушаетъ и все къ ней ближе подвигается... Что̀ долго разсказывать? Въ мѣсяцъ она барышню совсѣмъ въ руки взяла; слова ея слушается барышня, не отходитъ отъ ней. Господа радуются себѣ, что барышня повеселѣла, не знаютъ, какъ имъ Матильду Яковлевну благодарить и чѣмъ; то и дѣло ей подарки, а Матильда Яковлевна руки къ груди прижимаетъ да присѣдаетъ передъ ними. Скоро она прибрала къ рукамъ и барыню и барина: ее обо всемъ спрашиваютъ, съ ней обо всемъ совѣтуются.

Арину Ивановну точило горе: не взлюбила она Француженку, а видѣла что та всѣмъ домомъ вертитъ и даже ея ненависти не замѣчаетъ, а ненавидѣла ее Арина Ивановна всей своей душой; походку ея заслышитъ — измѣнится въ лицѣ. Да ужь не прежняя Нѣмочка безотвѣтная это была, чтобъ ее постнымъ силой кормить— нѣтъ! съ этой шутки плохія. Она сейчасъ къ барынѣ и этакъ, шутя да смѣясь, все разскажетъ,—веселёхонько, хоть у самой на сердцѣ кошки скребутъ. И зовутъ Арину Ивановну къ барынѣ. Аринѣ Ивановнѣ выговоръ...

А мое житье какое было? Хоть по прежнему я была при барышнѣ, да ужь была я одна-одинешенька; барышня совсѣмъ меня бросила, все съ Француженкой, все съ Матильдой Яковлевной, а я съ утра приду, простою у притолки день цѣлый, такъ меня и не вспомнитъ никто. И Арина Ивановна, и та пренебрегла тогда мной; она не замѣтитъ, стукну ли я, войду ли, не то, чтобы какъ прежде надзирать за мною, слѣдить. Правда, что она стала не такая нападчивая, — задумчива ходила и сурова, а тиха. То я, бывало, съ барышней поговорю, то отъ Арины Ивановны стерегуся, а тутъ я осталась ужь

совсѣмъ ни причемъ. Сердце мое очень ныть стало... что некуда и не къ кому мнѣ пристать на всемъ свѣтѣ бѣломъ... Сижу въ какомъ-то я разъ полуснѣ, и слышу кличетъ Матильда Яковлевна и даетъ мнѣ въ руки свою шкатулочку. «Хочу, чтобъ починили хорошо!» говоритъ, и показываетъ, что уголокъ отклеился. Я схватила эту шкатулочку обѣими руками, да никого не спрашиваючи, опрометью, черезъ садъ, къ столярной. У самой сердце стучитъ, вотъ будто я изъ темницы вырвалась. Бѣгу, бѣгу, а прибѣжала къ дверямъ и оробѣла. Тихонько двери отворяю — вижу тамъ человѣкъ пять на работѣ: кто стругаетъ, кто пилитъ, кто мѣряетъ; по окнамъ вездѣ стружки, на полу тоже стружки ворохами навалены. Всѣ ко мнѣ обернулись, всѣ на меня глядятъ: «Что ты? зачѣмъ ты?» Я показываю имъ шкатулочку. «Андрей, а, Андрей!» стали кликать, и вижу, высокій человѣкъ изъ боковой горенки выходитъ... Я его сейчасъ узнала, вспомнила какъ онъ мнѣ говорилъ: бѣдная ты дѣвочка завезенная! выздоравливай-ка ты скорѣе!» Все такой же онъ былъ, и веселый, и кудрявый, и ласковый. И онъ меня узналъ. «Ишъ, какъ выросла, сказалъ, ну рости себѣ, рости!» А другіе у меня шкатулочку ужь взяли, ему показываютъ, разглядываютъ, спорятъ. Одинъ, тамъ, бойкій такой, все онъ стоялъ подбоченившися: «я, говоритъ, могу и получше этакой сдѣлать». А ему другіе: — да ты и такой не сдѣлаешь. «Лучше сдѣлаю!» Спорить опять начали. Андрей мнѣ говоритъ: «Приди завтра за шкатулочкой, — будетъ починена». — Можно мнѣ стружечку взять? спрашиваю. Онъ захватилъ полны руки тѣхъ стружекъ да и обсыпалъ меня всю ими...

И цѣлый день все я послѣ думала, что вотъ завтра я опять пойду туда, и что завтра мнѣ Андрей скажетъ,

усмѣхнется ли, глянетъ ли, или онъ меня не замѣтитъ за работой?... Ходила я, и онъ меня привѣтно опять встрѣтилъ и сказалъ: «Собраться надо, да тебѣ игрушечку какую сдѣлать!»

Съ той поры такъ меня и тянетъ туда, да не смѣю, и скучаю. И что̀ сдѣлала. Держу я разъ барышнину игрушку — баринъ ей привезъ домикъ, совсѣмъ настоящій домикъ, — верчу я тотъ домикъ да думаю: «Домикъ, домикъ! чтобы тебѣ изломаться-то! а меня послали въ чинить отдавать, и я въ побѣжала... Чтобы тебѣ, домикъ, разсыпаться!» а домикъ, хрупъ! да и разсыпался. Перепугалась я тогда. Не такъ барышни боялась, а что достанется отъ Арины Ивановны, что̀ отъ Матильды Яковлевны будетъ. Стрѣлой я пустилась прямо къ Андрею. «Что̀ такое? Что̀?» спрашиваетъ, а на мнѣ лица нѣтъ. «Не бойся, не бойся, я починю; никто не узнаетъ. Ахъ ты, бѣдненькая, какъ перепугалася!» Смѣется...

Живемъ такъ-то, каждый съ своею заботой, и вдругъ замѣчать стали, что барышня совсѣмъ нравомъ измѣнилась, и опять на нее стало находить. То она отъ Матильды Яковлевны шагу не отступала, а то сторониться стала. Перестала ее разспрашивать, почти и говорить съ ней перестала. Подастъ урокъ да и молчитъ цѣлый день. Хочу, бывало, я къ ней подойдти, да не смѣю, боюсь Матильды Яковлевны, а барышня сама не позоветъ и словно она никого около себя не замѣчаетъ, сама съ собою шепчетъ.

Матильда Яковлевна совсѣмъ не та стала къ барышнѣ, суровѣй и строже; ужь не то чтобъ у барышни ручки цѣловать какъ сначала, она ужь и прикрикивать на нее стала. Какъ прибрала она господъ къ рукамъ, то ничего не боялась. Барышня долго терпѣливо все пе-

реносила, что я только дивлюсь, а Арина Ивановна божилась, что Француженка околдовала барышню. Спрашиваю я: «Барышня! очень вы Матильду Яковлевну любите, что вы все отъ нея сносите?» — «Игрушечка! отвѣчаетъ мнѣ:—она разсказываетъ такъ хорошо и много, много всего знаетъ. Можетъ, она мнѣ еще разскажетъ что»... И все сидитъ около Матильды Яковлевны и тихо ждетъ, и тихо вздыхаетъ... Матильдѣ Яковлевнѣ она надоѣла скоро; стала она отъ себя прогонять ее и стала надъ нею подсмѣиваться... Разъ Матильда Яковлевна ужь очень съ ней дерзко обошлась, накричала, набранила, и было барышнинъ нравъ прежній проявился: вспыхнула она и заговорила такъ, что Матильда Яковлевна струсила и все въ шутку обернуть захотѣла. Барышня отъ нея отвернулась и ушла. Не говоритъ она съ того часу съ Матильдой Яковлевной, не подходитъ къ ней. Матильда Яковлевна хоть спокойный видъ на себя принимаетъ, а крѣпко тревожится и все у меня выпытываетъ: «Что барышня? что говорила? Съ кѣмъ говорила?» Я вижу, что и барышня не спокойна: ухожу я отъ нея поздно вечеромъ — не спитъ, раннимъ утромъ застаю —не спитъ. «Барышня! говорю, чего заботныя такія?» — Тяжело мнѣ! отвѣтила. «Матильда Яковлевна васъ огорчила?» И она опять: Тяжело мнѣ, Игрушечка! Прошло сколько дней. Все барышня въ тоскѣ и все, видно, душа ея волнуется. Однимъ утромъ прихожу, застаю, что она уже совсѣмъ одѣта, стоитъ подлѣ окна. А лице у нея было тогда такое, словно она кого одолѣла или рѣшилась, пошла на что. Быстро ко мнѣ обернулась и спросила: «Матильда Яковлевна встала?» — Нѣтъ еще, говорю. «Скажи мнѣ какъ встанетъ, сейчасъ же скажи, Игрушечка!» Я пошла, дождалась по-

ка Матильда Яковлевна встала, прихожу и говорю. Она измѣнилась въ лицѣ. Постояла середь горницы и пошла прямо къ Матильдѣ Яковлевнѣ. Та сидѣла, чай въ своей горницѣ пила около столика. Удивилась очень приходу раннему и пытливо глядитъ. Тихо подошла къ ней барышня, и тихо сѣла около нея на скамеечкѣ, какъ прежде садилась ея разсказы слушать, и сама такъ глядѣла она на Матильду Яковлевну словно и корилась ей, и просила, и ласкалась... У Матильды Яковлевны глазки сверкнули — обрадовалась, только, радость свою скрыла и едва глянула на барышню... Стала ей выговаривать и попрекать; барышня все бѣлѣй да бѣлѣй становится и молчитъ. Замолчала и Матильда Яковлевна сердито. Пыталась барышня съ ней заговорить и такія тихіе да ласковыя ей слова говорила... Матильда Яковлевна все-таки ей надменно отвѣчала и грубо такъ... Пріѣхали гости, за Матильдой Яковлевной прислали, она съ собой барышню кликнула; та за нею покорно пошла. Гости спрашиваютъ, чего это Зиночка измѣнилась? И господа тогда вдругъ перемѣну увидѣли, встревожились. Матильда Яковлевна беретъ барышню за руку и середь гостиной ее выводитъ и давай разсказывать: что вотъ какая Зиночка упрямица была, да теперь сама хочетъ исправиться, вотъ сегодня прощенія просила... «Да?» спрашиваетъ у барышни. Та чуть слышно что-то сказала; блѣдна она стояла и вся дрожала. Хотѣла уйдти— Матильда Яковлевна не пустила, около себя посадила. Гости всѣ стали тогда барышню хвалить, цѣловать, стали совѣты ей давать. Господа радуются, а Матильда Яковлевна все говоритъ имъ: «Да, вы не даромъ свою Зиночку на мои руки отдали!» Сказалъ ли кто слово лишнее, или чѣмъ другимъ обидѣлъ барышню, только она

пришла изъ гостиной словно больная и очень долго плакала... Съ этого дня отшатнулась она отъ Матильды Яковлевны навсегда, навѣкъ... Спохватилась тогда Матильда Яковлевна. Давай заискивать, всячески ухаживать, ублажать—ничего ужь не помогло: только, бывало, посмотритъ на нее барышня такъ, что будто и жалѣетъ ее, и брезгаетъ ею... Матильда Яковлевна боялась, чтобы господа печали барышниной не замѣтили, чтобы не вздумала барышня на нее жаловаться... Барышня не жаловалась, только еще стала она задумчивѣй, очень поскучнѣла и часто плакала. И плачетъ, бывало, ужь не по прежнему съ крикомъ да съ сердцемъ, тихо себѣ плачетъ, да горько... Все это замѣчала Арина Ивановна, и ужь не разъ она къ барышнѣ тайкомъ пробиралася; ручки у ней цѣлуетъ: «я ваша слуга вѣрная, я!» все твердитъ, а та и слушаетъ, и не слышитъ.

—Чего вы все не веселы, все скучаете? Замучила васъ видно ученьемъ-то, мое сокровище? говоритъ барышнѣ.

— Да я ничему не выучилась и ничего не знаю, какъ же замучила? отвѣтитъ печально.

— Ахъ она, ехидная! вскликнула Арина Ивановна: сколько время учитъ, а ничему не выучила! Да она нарочно ученье тянетъ, чтобы побольше поживиться отъ папеньки, отъ маменьки... Да она обманщица лукавая!

И вѣрно ея слова барышнѣ западали въ душу, все она печальнѣй становилась. «Игрушечка! часто говаривала, никто намъ правды не скажетъ истинной! Вотъ какъ, Игрушечка!»

Матильда Яковлевна все видѣла, все знала, какъ Арина Ивановна барышнѣ нашептывала, какъ къ ней тайкомъ прокрадывалась, видѣла, а молчала, будто не до

нея дѣло, и весела была всегда и говорлива; хоть часто, бывало, съ сердцевъ у самой ручки дрожатъ, а улыбается и глазки щуритъ ласково...

Минуло барышнѣ 14 лѣтъ. Тутъ ужь и всѣ стали замѣчать, что она умомъ мѣшается... забывать стала имена... Особенно начала она мѣшаться, какъ побывала на похоронахъ. Умерла въ сосѣдствѣ богатая барыня, и весь околотокъ званъ на похороны. Пышно ее хоронили — такой ея послѣдній завѣтъ данъ дѣтямъ,—и наши господа были, и барышню съ собою брали... Только она пріѣхала, я сейчасъ замѣтила, что глаза у ней нехороши. «Игрушечка! шепчетъ мнѣ, ты видала мертвыхъ? Понимаешь ли, что̀ значитъ умереть?» Я хочу о другомъ заговорить, она меня не слышитъ, и все себѣ твердитъ одно: «Живетъ человѣкъ, умираетъ человѣкъ; всѣ живутъ, всѣ умираютъ». И кто къ ней ни подойдетъ она всѣмъ одно и тоже... Ничѣмъ ее нельзя отвлечь отъ мысли той, ничѣмъ разсѣять. Господа тогда перетревожились, послали за лѣкаремъ. Лѣкарь говоритъ: «Помѣшана». Помѣшательство ея было тихое; иногда она какъ-будто и въ себя приходила. Слезъ ничьихъ не могла видѣть, вся поблѣднѣетъ бывало, задрожитъ. Я ей говаривала: Не тревожьтесь, барышня; со всѣми горевать не станетъ васъ. «Игрушечка! отвѣчала мнѣ: — когда плачетъ человѣкъ, ты знаешь ли, какъ ему больно! А я знаю! я знаю, какъ больно!»

Мало ей лѣкарствомъ помогали. Стала она всѣхъ дичиться; потомъ стала отъ всѣхъ бѣгать, — тоска у ней безотходная была, ныла она да чахла. Перестала узнавать — ни отца, ни матери не узнавала. Кручинились господа. Громко Матильда Яковлевна вздыхала. Сосѣди пріѣзжали провѣдывать, смотрѣли на нее изъ-за дверей,

жалѣли, а она стоитъ середь горницы думаетъ, думаетъ, словно хочетъ что-то припомнить, да не дается ей, и въ мукѣ великой она за голову берется... А то плачетъ горько, горько плачетъ по цѣлымъ часамъ. Спрашивай — не отвѣтитъ, не замѣтитъ, или испугается — убѣжитъ. Съ горя по барышнѣ и барыня хворала это время. Матильда Яковлевна все около нея, утѣшала, успокоивала, а я при барышнѣ. На моихъ рукахъ она и умерла... Въ розовый бархатный гробъ положили ее, сухенькую, худенькую, и такое у ней было личико заботное, такое печальное — вотъ, кажись, большіе глаза откроются и въ сомнѣньи она станетъ спрашивать, о чемъ-то...

Послѣ барышниной смерти барыня меня за собою ходить приставила. «Она за Зиночкой ходила — я хочу, чтобы она и при мнѣ была». А время своимъ чередомъ пошло, стали привыкать, слезы высохли, только вздохнутъ о барышнѣ, какъ вспомнятъ, да поскорѣй рѣчъ о другомъ заводятъ, повеселѣй!... Сняли черное сукно со стѣнъ: опять и шумно и весело въ хоромахъ; опять господа обѣды званые даютъ. Матильда Яковлевна все у насъ живетъ, да и отъѣзжать видно не думаетъ. Она съ господами неразлучно; барыня только глаза откроетъ, ужь Матильду Яковлевну кличетъ. Матильда Яковлевна и книжки вслухъ читаетъ, Матильда Яковлевна и гостей забавляетъ, она жь ихъ и осудитъ, и осмѣетъ, и передразнитъ, какъ выпроводитъ. Вотъ это, бывало, по вечерамъ, если случится, что никого гостей нѣту, Матильда Яковлевна и почнетъ въ разныхъ лицахъ являться: то генеральшей войдетъ Чернихинской, ну совсѣмъ генеральша, такъ же и шаль по всему дивану распуститъ, чтобъ никто рядомъ не сѣлъ, и посматриваетъ такъ же

строго на всѣхъ... то представитъ Карачевскую барышню, что все вздыхаетъ и платочкомъ обмахивается... всѣхъ она, бывало, переберетъ, всѣхъ-то до единаго. И очень господъ этимъ утѣшала: такъ хохочутъ, что приходилось иногда обоихъ водой брызгать... А Арина Ивановна ночей не спитъ, въ тревогѣ она да въ сомнѣньи: стала Матильда Яковлевна, что-то часто въ хозяйство вмѣшиваться, войдетъ къ Аринѣ Ивановнѣ: «дайте ключи!» и не дождавши слова отвѣтнаго, возьметъ сама, и пошла по кладовымъ шарить. Барынѣ жаловаться было нечего, съ каждымъ днемъ больше ее обходила Матильда Яковлевна. Въ обидѣ, въ досадѣ, въ тоскѣ сидитъ себѣ одиноко въ своей комнатѣ Арина Ивановна; похудѣла и пожелтѣла; перестала къ попадьѣ въ гости ѣздить, перестала и къ обѣднѣ по воскресеньямъ ходить. Съ нами, то вдругъ ласковая такая, такая привѣтная, свои сны намъ разсказываетъ, работой нашей не нахвалится, то вдругъ раскричится, разлютуется, все не по ней, все не хорошо, грозится: и то и другое будетъ вамъ... Если встрѣтится съ Матильдой Яковлевной лицомъ къ лицу — всякое дѣло бросаетъ, прочь бѣжитъ. А Матильда Яковлевна и не пускаетъ, останавливаетъ и своими словами ласковыми да пріятными разобидитъ ее и до самаго сердца доймета, а за обѣдомъ льстивымъ голосомъ спрашиваетъ: чего задумалася? здорова ли?

Побѣлѣютъ губы у Арины Ивановны, глухимъ голосомъ она за вниманіе благодаритъ, а Матильда Яковлевна усмѣхается, да шейку вытягиватъ: «Что, что? я не разслышала», говоритъ, «что?» И благодаритъ Арина Ивановна ее въ другой разъ за вниманіе... А то помню, какъ подошла она къ Аринѣ Ивановнѣ и приласкала ее: «Милая моя!» а сама ее по плечу потрепала, глазки

прищуря съ улыбочкою. Задрожала вся Арина Ивановна и духъ у ней занялся, не можетъ слова вымолвить, глаза черные засверкали — а та на нее глядитъ все усмѣхаючись, да легонько по плечу ее треплетъ...

Выговаривала Аринѣ Ивановнѣ барыня: «Что это вы, Арина Ивановна, все такія скучныя, — вы и на насъ, милая, скуку наводите, да и смотрѣть вы стали такъ угрюмо. Заговариваетъ съ вами Матильда Яковлевна, вы едва отвѣчаете, какъ же это можно такъ, это невѣжливо»...

Начала сѣдѣть Арина Ивановна...

Разъ Матильда Яковлевна долго съ барыней запершись въ спальной сидѣла и выбѣжала Матильда Яковлевна очень весела оттуда, прямо къ Аринѣ Ивановнѣ. «Дайте ключи, говоритъ, дайте, милая Арина Ивановна моя, вы теперь ужь будете на покоѣ — поздравляю!» «Какъ?» проговорила Арина Ивановна. Потомъ бросила ей ключи на столъ: «чтобъ тебѣ добра не было, змѣя подколодная! а я тебѣ этого не забуду!»

Матильда Яковлевна какъ ни въ чемъ не бывала, схватила ключи и побѣжала. Слышала ли она, что ей Арина Ивановна сказала, нѣтъ-ли — кто ее знаетъ.

—Поѣду отъ васъ, говоритъ намъ Арина Ивановна, — поѣду, да нигдѣ мою злодѣйку не забуду!

Пошла она къ барынѣ: — Покорно благодарю за милости ваши, сударыня! Пусть вамъ другіе лучше моего послужатъ! А барыня ей: «Что это значитъ? Вы куда сбираетесь развѣ?»—Приказали ключи у меня отобрать, значитъ, я не надобна, говоритъ Арина Ивановна. «Полноте! Я это сдѣлала для Матильды Яковлевны—ей хотѣлось похозяйничать, а вы все-таки оставайтесь у насъ; зачѣмъ вамъ уѣзжать? Да мы привыкли къ вамъ, и вдругъ

васъ нѣтъ — останьтесь Арина Ивановна, останьтесь. Будете Матильдѣ Яковлевнѣ помогать.» Подумала — подумала Арина Ивановна, и осталась.

Прошло послѣ этого мѣсяцевъ, можетъ, съ пять. Матильда Яковлевна на цѣлый домъ ключами гремитъ и свои приказы выкрикиваетъ. Арина Ивановна съ утра до вечера въ своей горенкѣ, рѣдко и къ обѣду выйдетъ, все жалуется: «больна! неможется!» И глянуть на нее— изсохла, извелась; въ лицѣ у ней ни кровинки, или ужь огнемъ щеки горятъ; глаза у ней безпокойные, блестящіе... А Матильда Яковлевна-то ей варенья съ ложечку пришлетъ, то сливокъ въ чашечкѣ на донышкѣ... Слуги-то межъ двухъ огней; и не понести боишься: Матильда Яковлевна пошлетъ да сама за дверями слушаетъ — отдашь ли; и подать боишься, что Арина Ивановна посланцовъ не ласково принимаетъ — чѣмъ попало имъ въ голову, а приношеніе объ полъ. Такъ-то было сначала, потомъ Арина Ивановна не то присмирѣла, не то сама гнѣвомъ своимъ утомилась, — только глянетъ, да головой кивнетъ...

Такъ мы Петрова поста дождали. Петровками на первой недѣлѣ, въ ночь, внезапно Матильда Яковлевна захворала: кричитъ, вопитъ—весь домъ подняла на ноги. Скорѣй за лѣкаремъ—нѣту, на слѣдствіи; за другимъ — къ какой-то барынѣ въ чужой уѣздъ взяли; а Матильда Яковлевна не своимъ голосомъ кричитъ: «умираю! умираю!» Ей и припарки и примочки—хоть бы что помогло. Всѣ въ тревогѣ большой, въ страхѣ, только Арина Ивановна изъ своей комнаты не выходитъ. Побѣжала за ней: «сама больна!» отвѣтила.

— Матильда Яковлевна умираетъ! говорю.

— Туда ей и дорога!

— У васъ лампадка потухла, — зажечь?

— Не надо. Иди себѣ.

Какъ лежала лицомъ къ стѣнкѣ, такъ и не обернулась.

Барыня замѣтила, что ея нѣту. «Что это значитъ, отчего не пришла Арина Ивановна? гдѣ она? Позовите ее». Тогда она пришла, блѣдна очень, завернувшись въ черный платокъ. «Арина Ивановна, къ ней барыня. Что тутъ дѣлать? какъ быть? Не стыдно ли вамъ, что стоите вы какъ каменная, ни за что не возьметесь, не поможете? вѣдь она можетъ умереть!»

— Я ее отъ смерти не спасу, сударыня, если ея часъ пришелъ! такъ-то мрачно отвѣтила, что барыня примолкла и только охнула. А Матильда Яковлевна какъ увидала, что Арина Ивановна подходитъ, руками замахала на нее и закричала: «не подходить! не подходить ко мнѣ!» Какъ стала въ углу Арина Ивановна, недвижно цѣлую ночь простояла. Къ свѣту Матильда Яковлевна померла... Стоятъ всѣ надъ покойницей и тужатъ, и дивятся, что вотъ смерть-то скорая да нежданная. Подошла и Арина Ивановна, на нее поглядѣла, а перекреститься не перекрестилась и прощаться не стала. Барыня плакала и Аринѣ Ивановнѣ говорила: «Ахъ, Арина Ивановна, какъ жаль-то ее, какъ жаль! Распорядитесь похоронами, хороните ее поскорѣе — я сама боюсь заболѣть отъ грусти!» И приказъ отдала никогда къ столу грибовъ не подавать — говорили, что смерть Матильды Яковлевны отъ грибовъ: она всегда приказывала для себя особенно къ ужину грибы готовить, и того вечера ими ужинала. Похоронили Матильду Яковлевну, а добро ея все барыня Аринѣ Ивановнѣ отдала.

Въ сумерки пошли мы перетаскивать сундуки къ Аринѣ Ивановнѣ, въ горницу; Арина Ивановна и промол-

вила: «Хотѣла, молвитъ, ты у меня кусокъ хлѣба отбить, хотѣла меня выжить, да вотъ сама въ сырой землѣ лежишь! Теперь на моей улицѣ праздникъ!»

И усмѣхнулась.

«Запирайтеся, двери, запирайтеся! приговариваетъ, захлопываючи двери: — пустѣй горенка замкнутая!» Да вдругъ какъ вскрикнетъ не своимъ голосомъ, мы чуть сундукъ не упустили — оглянемся, она блѣдная какъ смерть, вся дрожитъ. «Что̀ такое? что̀ такое?» Никакъ отъ нея не добьемся и отъ дверей ее оттащить не можемъ. «Поймала меня, не пускаетъ, поймала!» шепчетъ Арина Ивановна, и въ ужасѣ великомъ крестится рукой дрожащей. А то она сама свое платье дверью прихлопнула, да примстись ей, что ее покойница поймала. Ну, оглядѣлись, успокоились, посмѣялись. Усмѣхнулась и сама Арина Ивановна, да не душевно она усмѣхнулась, и видѣли мы, что все она крестится и молитвы шепчетъ, и вздрагиваетъ, и озирается...

Вечеромъ сидимъ мы, дѣвушки, за работою въ дѣвичей, а колокольчикъ динь-динь безпрестанно: все кличетъ Арина Ивановна то за тѣмъ, то за другимъ. То спроситъ не идетъ ли дождь, то воды велитъ подать, то кошку ей принесть. Что̀ это Арина Ивановна сегодня раззвонилась? говоримъ межъ собой. На другой вечеръ опять поминутно кличетъ. Двѣ свѣчи горятъ у ней въ горницѣ — когда это видано? Вздумала нитки мотать и меня держать мотокъ позвала. Я стою да со скуки гляжу ей въ лице: «какое мрачное у ней лице-то!» думаю. И все она къ чему-то прислушивается, все ее словно дрожь пронимаетъ, и то и дѣло со свѣчей снимаетъ. «Тускло какъ горятъ, слѣпыя свѣчи!» все приговариваетъ. А свѣчи были какъ свѣчи и горѣли ярко.

— Игрушечка! говоритъ она мнѣ и усмѣхается, да такъ усмѣхается, что мнѣ чего-то ее жалко стало, сама незнаю чего, а стало ее жалко: — Игрушечка, разскажи ты мнѣ сказочку какую-нибудь!

— Я не знаю, не умѣю, отвѣтила я ей.

Она замолчала и опять мотаетъ. Много мотковъ въ тотъ вечеръ она перемотала. Пробилъ первый часъ.

— Поздно! говоритъ. — Какъ скоро эти часы бѣгутъ: не, успѣешь оглянуться ужь и ночь. Ну, Игрушечка, ступай себѣ. Да постой! Что ты все еще боишься въ чуланчикѣ спать?

— Нѣтъ, говорю: — привыкла.

— А то приди-ка ты ко мнѣ ночевать. И тебѣ бъ веселѣй да и мнѣ прислужишь случится, вотъ вчера кликала, кликала воды подать, никого не добудилась. А у меня сегодня, что-то голова болитъ.

Принесла я свою постелю въ ея комнату, жду что она ляжетъ, что свѣчи погаситъ. Она легла, а свѣчъ не погасила. «Не надо, говоритъ, пусть ихъ горятъ. У меня что-то голова болитъ — не спится». А сама все блѣднѣй да блѣднѣй, все вздрагиваетъ да крестится, и на меня такой страхъ навела, боюсь, хоть сама не знаю чего. И до свѣта мы съ нею глазъ не сомкнули. На другой день всѣ на Арину Ивановну люди поглядываютъ, перешептываются, дивятся; она замѣтила. Вечеромъ опять прихожу. «Иди себѣ», говоритъ, «сегодня мнѣ получшѣло». Я и пошла въ свой чуланчикъ. Только я глаза свела — такъ страшно кто-то закричалъ, что я опрометью бросилась въ дѣвичью, а оттуда мнѣ на встрѣчу ужь бѣгутъ, свѣчи зажигаютъ, суетятся, всѣ перепуганы.

Случилось что-то съ Ариной Ивановной. — Вбѣжали къ ней — она внизъ лицомъ на своей кровати ле-

житъ, какъ мертвая. Мы ее подняли, воды дали напиться; пришла она немного въ себя. «Садитесь, садитесь», сажаетъ насъ на свою кровать. Мы только смотримъ другъ на дружку, дивно да чудно намъ, а Арина Ивановна то къ тому, то къ другому прижимается, какъ малое дитя. «Не уйдите вы отъ меня, не уйдите!» проситъ, «не покиньте!»

И господа услыхали, потревожились, звонятъ въ колокольчики: что̀ такое? кто кричалъ?

—Аринѣ Ивановнѣ что-то приснилось, Арина Ивановна кричала.

—Да что жь ей приснилось?

Тогда и говорятъ, что вѣрно ей покойница Матильда Яковлевна привидѣлась.

— Какіе пустяки! вскрикнули господа: — вотъ выдумки несообразныя! А у себя приказали сейчасъ же лампаду зажечь...

Съ тѣхъ поръ какъ вечеръ, такъ Арина Ивановна и скликаетъ насъ и разсаживаетъ вокругъ себя. Днемъ еще ничего, и по хозяйству похлопочетъ, а какъ вечеръ — бѣда. И плачетъ, и дрожитъ. Ночью у ней свѣчи не угасаютъ и дѣвушки очередуются, не спятъ при ней. То бѣлое ей въ окнѣ мелькаетъ, то чья-то ей походка слышится, то дунетъ кто-то ей въ лице холодомъ, то чудится что-то въ уголку шевелится, то за собой смѣхъ слышитъ. Сталъ слухъ носиться между людьми, что покойница къ Аринѣ Ивановнѣ по ночамъ ходитъ и мучитъ ее за то, что смерти ея радовалась; много было объ этомъ толковъ, много домёковъ... да вѣдь всего-то не переслушаешь что̀ люди говорятъ... только что на всѣхъ страхъ нашелъ; сами господа хоть днемъ и посмѣивались и бодрились, а къ вечеру начинали прислу-

шиваться да оглядываться... Двери въ той горницѣ, гдѣ Матильда Яковлевна жила, забили на глухо и каждую субботу покойницу въ церкви поминали...

По-немногу стали успокоиваться — не находила покою одна Арина Ивановна до самой смерти. Въ страхѣ да въ тоскѣ она скоро и зачахла. Передъ смертью у всѣхъ у насъ прощенія просила и съ рыданьемъ говорила: «Помолите вы за меня Богу! Помолите!» Священникъ, что ее исповѣдывалъ, тихій старичекъ такой, вышелъ отъ ней самъ не свой и все крестился шелъ. Какое у ней было добро, какое имущество, Арина Ивановна на церкву да на нищихъ завѣщала.

Послѣ Арины Ивановны намъ было вольнѣе: и на крылечкѣ постоишь, и садъ обѣжишь — не боишься. Барыня за нами не слѣдила, лишь бы ей все было готово, подано, а то что̀ себѣ хочешь дѣлай, гдѣ угодно будь. Кромѣ еще того, говорю, господа въ послѣднее время въ большой тревогѣ были и печали: совсѣмъ денегъ не было. Пшеницу они еще на корню продали, и стало имъ не надолго: отпраздновали барынины именины, а на свои баринъ больнымъ сказался, не было ни обѣду, ни пиру, и ставни велѣли затворить, чтобъ видѣлъ, кто пріѣдетъ, что такъ-то ужь хворы, что и свѣту божьяго глаза не сносятъ. Все баринъ письма пишетъ, а барыня черезъ его плечо читаетъ да вздыхаетъ; отвѣтныя, вѣрно, не хороши, не веселы шлютъ: какъ ни получатъ — призадумаются, совсѣмъ примолкнутъ.

Ходила я разъ по саду подъ вечеръ, вдругъ прямо къ моимъ ногамъ яблочко упало, да такое славное, наливное яблочко. Подняла я да оглядываюсь. Господи! откуда это? а невдалекѣ отъ меня Андрей стоитъ—смѣется. «Испугалась?» спрашиваетъ.—Нѣтъ, говорю... и давно

ли онъ тутъ гуляетъ спрашиваю. «Я давно ужь гуляю». —Какъ же я не видала? «Да я ходилъ вдалекѣ, сторонкой, да смотрѣлъ какъ ты гуляла, какъ думала... и о чемъ такъ думала?»—Мало ли что̀ въ голову придетъ, а разсказать-то вѣдь трудно, отвѣтила ему:—Какіе славные вечера теперь стоятъ, погожіе, говорю. «Да, отвѣтилъ онъ:—тихіе». Да и разошлись мы... Я ему за яблочко и спасибо не сказала, какъ-то забыла. Ну, думаю, въ другой разъ увижу, скажу... На другой вечеръ опять я въ саду его встрѣтила и за яблочко поблагодарила, да больше-то и не приберу, что̀ ему сказать; опять вечеръ погожій похвалила... да «прощай» говорю.

— Что̀ жь, если вечеръ-то вправду хорошій, отчего не погуляешь? спрашиваетъ.

— Нѣтъ, отвѣтила: — нельзя, работа есть барская.

— Можетъ не къ спѣху? промолвилъ.

— Нѣтъ, спѣшная... прощай...

И пошла. Оглянулась, онъ стоитъ и мнѣ вслѣдъ глядитъ. А работы у меня не было тогда никакой, и сама я не знаю зачѣмъ передъ нимъ слукавила... Пришла въ хоромы, сѣла, да до поздней ночи просидѣла подъ окошечкомъ сложа руки...

Стали мы каждый вечеръ встрѣчаться... Онъ мнѣ слово скажетъ, я ему—и разойдемся...

Непримѣтно свыкались. Кажись, что̀ тутъ одно слово перемолвишь да въ его глаза привѣтные глянешь, — а присушило, приворожило на цѣлый вѣкъ... Всѣмъ онъ мнѣ полюбился: и красой, и рѣчами ласковыми и разумомъ быстрымъ. Веселый былъ такой, на все-то отважный да бравый... Онъ мнѣ за утѣху и за совѣтъ сталъ. Затужу ли, загорюю ли, приду около него поплакать, онъ мои слезы осушитъ своимъ словомъ совѣтливымъ... И говорилъ

онъ мнѣ бывало: «Не горюй! жить и такъ горько! Кручиною тьиичего невозьмешь — бери сметкой да спокоемъ!»

Вотъ какъ я подлѣ него, то и голову подниму, а нѣтъ его, кажется, что и земля изъ-подъ ногъ у меня уходитъ. Вѣдь какъ разъ горе человѣка придавитъ, придушитъ, будетъ онъ на весь вѣкъ знать. Сломи-ка верхушку съ дерева, — послѣ и рости его и поливай, пойдутъ новые отростки молодые, побѣги зеленые, — а верхушки все нѣтъ... И онъ тоже сирота былъ и взросъ одиноко, да какъ-то ему далось все въ руки: и смѣтливость, и веселость, и отвага, — а я себя только къ тоскѣ приспособила... Бывало, когда я его своей печалью запечалю, что смолкнетъ онъ, призадумается, такъ только кудрями шелковистыми тряхнетъ и словно съ плечъ ту печаль сброситъ... не то что я съ своей разстаюсь будто не хотя, будто ее жалѣючи... Настала осень дождливая, ненастная, вечера темные, густыя тучи по небу бродятъ, развѣ сверкнетъ одна ясная звѣздочка и опять пропадетъ, а мы станемъ гдѣ подъ навѣсомъ около хоромъ, частый дождь и бьетъ и сѣчетъ въ горячее лице — горюшка мало! Развѣ только скажешь: экой дождь славный! А зимой! вьюга, мятель, вихри снѣжные пусть себѣ морозятъ, заносятъ, только бы намъ вѣрное слово перемолвить. Положили мы къ господамъ идти, какъ избу себѣ поставимъ. «Что жь, говорилъ Андрей, я тебя не хочу въ людскую привесть, а вотъ весною свою избу поправлю, да тогда на свое хозяйство, въ свой уголокъ... Весной перекрылъ онъ избу, ставни узорные подѣлалъ, крылечко рѣшетчатое.

Всѣ дивуются да догадываются: «На что Андрей избу украшаетъ? Не хочетъ ли Андрей жениться? И на комъ

думаетъ?» А правды никто — никто не зналъ, не вѣдалъ... Изба его стояла въ ряду съ другими, и часто я пробиралась туда огородами, бывало, да тайными тропиночками. Приду да и сижу тамъ, и никто того не мыслитъ. Сижу себѣ тамъ да думаю: вотъ тутъ я свой сундучекъ поставлю, а тутъ я образокъ повѣшу; и какъ это я *его* встрѣчать буду, какъ *онъ* домой придетъ, и какъ я тутъ у него хозяйкою буду—все, бывало, передумаю. Часто мнѣ барышня покойница вспоминалася,—и вспомнится живо такъ — будто вотъ ея тихій вздохъ я слышу... И съ Андреемъ сидючи, вдругъ вижу, она какъ словно пронесется передо мной... Я часто, бывало, говорю Андрею, разсказываю объ ней...

— А забѣги-ка нынче въ рабочую пораньше, говоритъ мнѣ разъ Андрей:—я работу новую началъ.

А это онъ мнѣ сундучекъ дѣлаетъ... и какой этотъ сундучекъ славный былъ! Я его и во снѣ сколько разъ видѣла, что вотъ я туда добро какое-то складываю; а то приснится мнѣ, что сундучекъ мой разсыпался, или открою, а изъ него огонь и дымъ валитъ...

— Готова моя изба, говоритъ Андрей: — дождемся розговень и пойдемъ къ господамъ. — А ли чего ждать! до розговень ужь недалеко, пойдемъ къ господамъ теперь, а послѣ Петрова дня и свадьбу сейчасъ сыграемъ.

— Нѣтъ, Андрей, погоди, говорю ему: — погоди ты немножко. Теперь господа очень горюютъ, въ большой они печали — какъ еще примутъ насъ?

Знаете, вѣдь у насъ все на барскомъ веселомъ или печальномъ часѣ.

Ужь давно повадился къ намъ ѣздить новый сосѣдъ, баринъ угрюмый такой, усы у него щетинистые, взглядъ

желѣзный какой-то, одѣтъ весь въ черномъ, а на шеѣ красненькая ленточка. Онъ по сосѣдству себѣ имѣніе большое купилъ года два назадъ, и мы его по наслышкѣ только до сей поры знали, что-будто очень онъ лютъ былъ. Вотъ познакомился онъ съ нашими господами, самъ пріѣхалъ, да и сталъ учащать. Какъ онъ ни побываетъ, послѣ всегда барыня плачетъ, а баринъ вздыхаетъ да насвистываетъ... да не прежнюю веселую плясовую, а какую-то заунывную... И какъ знакомецъ новый ни пріѣдетъ, разговоры у нихъ съ господами жаркіе идутъ... Сталъ слухъ носиться, что ему хотятъ Рогожино продать... Какъ я услыхала — бѣгу къ Андрею: «Андрей, говорю, знаешь?»

— Знаю, знаю! отвѣтилъ: — только тебя поджидалъ, сейчасъ идемъ къ господамъ. Что̀ дальше будетъ невѣдомо: хорошаго много не жди!

— Какъ идти-то? говорю: —вѣдь теперь готъ сидитъ у нихъ, и спорятъ о чемъ-то.

—Вѣрно торги ведутъ нашими головами, отвѣтилъ мнѣ Андрей.—Да еще не время *его* бояться, еще не пора, пойдемъ!

—Ну, пойдемъ!

Еще въ сѣни входимъ, ужь голоса слышимъ... Въ гостиной говорятъ: «Да помилуйте, баситъ сурово кто-то,—никто другой вамъ такой цѣны не дастъ, что̀ жь вы еще жалуетесь, что дешево продали!»

— Да мнѣ прошлаго году почти вдвое больше давали, отвѣчаетъ нашъ баринъ.

Барыня, слышно, всхлипываетъ.

— То былъ годъ прошлый—тогда давали, а теперь годъ нынѣшній — теперь не дадутъ!

А мы стоимъ да слушаемъ....

И долго стояли... То тотъ, то другой мимо насъ къ двери прокрадывался послушать; кажись, всѣ на насъ глядѣли удивляючись, чего мы тутъ стоимъ оба и спрашивали: чего вы ждете? чего стоите?

— Не томи ты и себя и меня, рѣшайся! сказалъ Андрей. — Войдемъ прямо къ нимъ.

— Войдемъ, говорю.

И отворяемъ двери. Баринъ нашъ услыхалъ, вскочилъ — такой онъ и встревоженный, и раздосадованный. Барыня платочкомъ прикрывается—плачетъ, а чужой пристально своими глазами желѣзными на насъ глядитъ.

— Что вамъ надо? что это значитъ? нетерпѣливо такъ спрашиваетъ баринъ.

Говоритъ ему Андрей, проситъ его...

— Какъ, Игрушечка, вскрикиваетъ барыня: — ты хочешь за мужъ выходить?

— Сватайтесь, женитесь, мнѣ все равно! Не до васъ теперь, ей Богу! говоритъ намъ съ досадою баринъ.

И махнулъ рукой, чтобъ шли.

Тогда чужой привсталъ: — «Позвольте!»

— Ахъ, да! вскрикнулъ нашъ баринъ: — я забылъ! Я уже не господинъ вашъ, вы проданы, вотъ вашъ новый баринъ!

— Какъ! вскрикнула барыня: — и Игрушечка продана? Ахъ Боже мой!

Мы глядимъ на *новаго*—хотимъ его попросить, а онъ намъ какъ крикнетъ: *маршъ отсюда!* и отвернулся...

— Пропали мы, Андрей! говорю.

Онъ молчалъ, все о чемъ-то крѣпко думалъ... Подъ вечеръ пріѣхалъ исправникъ и съ нимъ весь станъ и еще какіе-то господа, что на все кругомъ такими

жадными глазами смотрѣли. Созвали людей къ крыльцу, объявили имъ, что проданы они; новаго барина показали... А онъ стоитъ и оглядываетъ покупку свою и поморщивается — не по нраву ему пришлася.

— Что за люди! говоритъ исправнику; — какъ стоятъ! какъ глядятъ! Смѣлость-то, дерзость-то какая!

— Ничего, исправникъ отвѣчаетъ, пристегиваючи свой сюртучекъ: — исправить всякаго можно!

Новый баринъ сейчасъ же и поселился въ домѣ... Прежніе наши господа еще на два дня оставалися... Это время я почти Андрея не видала: новый баринъ успѣлъ ужь всѣхъ на работу поставить; изъ его имѣнія прикащикъ пріѣхалъ за всѣмъ надзирать, и неутомимъ былъ и неусыпенъ: вездѣ его голосъ сиплый слышенъ; во всѣхъ уголкахъ онъ словно изъ земли выросталъ — самъ приземистый, голова большая, взглядъ свирѣпый, а въ рукѣ арапникъ тройной. Наканунѣ выѣзда призвала меня барыня:

— Игрушечка! говоритъ,—собралась ли ты? вѣдь ты со мной ѣдешь. Какъ благодарна я вамъ, обратилась къ новому барину: — что вы мнѣ эту дѣвушку уступили — я привыкла къ ней очень... Какъ я благодарна вамъ!

«Вотъ что̀ еще меня ожидало!» подумала я себѣ и прямо къ Андрею пошла.

— Прощай Андрей, прощай желанный!

— Не плачь, не тужи поможешь ли? говоритъ онъ. — Пойдемъ къ барынѣ...

— Да что̀ жь, молвлю: —подаритъ она насъ по своей добротѣ рублемъ, или платьицемъ съ своего плеча...

— И то правда! проговорилъ. Голосъ прикащиковъ послышался. — Иди, иди скорѣй, гонитъ меня Андрей,— иди, боюсь онъ тебѣ скажетъ что̀.

Мнѣ же словно какая-то надежда въ душу вошла: попытаюсь, попрошусь у барыни! Все думаю и все никакъ время не выберу, не застану ее одну.

Ужь карета запряжена, а я еще ей ничего не сказала... ужь одѣваются... Тогда я не смотрѣла кто былъ тутъ, стала ее просить, молить: оставьте меня! у меня женихъ есть любимый! «Ахъ, ахъ, Игрушечка! не стыдно ли тебѣ, и ты меня могла бы оставить? Ахъ какъ же это можно! Боже мой! все насъ покидаетъ!» И заплакала... Повели ее подъ руки въ карету, посадили... втолкнулъ и меня кто-то и помчались мы... Еще разъ увидала я Андрея... стоялъ онъ при дорогѣ бѣлый, какъ полотно и поклонился... Мелькнуло лицо барина новаго и глаза его холодные...

Черезъ два мѣсяца пришло извѣстіе изъ Рогожина, что несчастье случилось... Шесть человѣкъ на поселеніе пошло... Андрей шестымъ...

А мы вотъ переѣхали къ барыниной тетенькѣ—поселились у нея, да и живемъ себѣ... Никого мнѣ, ничего знакомаго, только вотъ портретъ барышни покойницы; кудрявенькая и веселенькая она на портретѣ: такая была она, когда меня Игрушечкой назвала. Далеко жь теперь Игрушечка переброшена, далеко...

Барынина тетенька ужь старая барышня, сѣдая и скупая. Ходитъ она вся въ черномъ и часто молебны служитъ, а платитъ она за нихъ не деньгами — мукой или овсомъ, или крупъ пошлетъ. Домъ у ней большой, комнаты темныя и вездѣ черные коврики суконные передъ порогами. Кругомъ дома амбары, кладовыя — вездѣ тяжелые замки висятъ; сады — и тѣ замкнуты. Дѣвушки горничныя всѣ кружева плетутъ, барышня продаетъ, и всѣ говорятъ шопотомъ, тишина въ домѣ, тишина,

59094 166

только барышнина собаченка заливается лаемъ звонкимъ... Скучно моимъ господамъ у тетеньки; похудѣли и поблѣднѣли у ней живучи и словно полиняли... Приду я барыню раздѣвать ввечеру, а она мнѣ жалобно: «Игрушечка! скажи хоть ты что-нибудь веселое!»

Только они входятъ къ тетенькѣ, — тетенька тотчасъ свои очки возьметъ, протираетъ, надѣнетъ и глядитъ имъ въ глаза и головой качаетъ: «Охъ, охъ! весь вы мой домишко разнесете, размотаете, только я глаза закрою, все у васъ прахомъ пойдетъ!» Охаетъ и все одно имъ твердитъ. Они увѣрять ее почнутъ: «Да можно ли, да мы никогда», а она головой качаетъ...

Меня выучили кружева плесть... вотъ я кружева плету и вѣкъ свой изживаю... Много время съ той поры прошло, какъ я сюда пріѣхала, много тоски, много скуки ѣдкой пережито... Да ни къ кому ужь я сердечно не привязалась, ни къ кому ужь и не привяжусь... Только сердце забьется, только душа повлечетъ — видится мнѣ впереди пустая степь безбрежная, дальняя дорога да тоска жгучая, да слеза одинокая...

КОНЕЦЪ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

1. Надежа 3
2. Маша 25
3. Катерина. 45
4. Саша. 63
5. Купеческая дочка. 91
6. Игрушечка 117

ИЗДАНІЯ К. СОЛДАТЕНКОВА и Н. ЩЕПКИНА:

АѲАНАСЬЕВА..... Народныя Русскія Сказки Выпускъ 1 . . . . . 50 к.
« « « Выпускъ 2 . . . . . 70 к.
БАБСТА..... О нѣкоторыхъ условіяхъ, способствующихъ умноженію народнаго капитала. . . . . 50 к.
БЕРГА..... Записки объ осадѣ Севастополя. 2 части. 2 р. 50 к.
БЕРГА..... Севастопольскій альбомъ (37 рисунковъ). . . 7 р.
БѢЛИНСКАГО..... Сочиненія. Ч. 1, 2, 3 и 4. За каждую . . . 1 р.
ГРИГОРОВИЧА... Повѣсти и разсказы. 6 частей . . . . . 5 р.
КОЛЬЦОВА..... Стихотворенія Изд. 3. . . . . 50 к.
МАРКА ВОВЧКА.. Разсказы изъ народнаго Русскаго быта . . . . . 50 к.
ОГАРЕВА..... Стихотворенія Изд. 2. . . . . 50 к.
ПОЛЕЖАЕВА..... Стихотворенія, съ портретомъ. Изд. 2 . . . . . 50 к
СОЛОВЬЕВА..... Учебная книга Русской исторіи. Вып. 1, 2, 3 и 4. За каждый выпускъ . . . . . 50 к.
ТАЦИТА..... Лѣтопись, 2 тома. Пер. А. Кронеберга . . . 1 р. 50 к.
ЧТЕНІЕ для взрослыхъ дѣтей. Кн. I. Очерки Печорскаго края . . . . 60 к.
Кн. 2. Очерки Зауральской степи и Букеевской Орды. . . . . 50 к.
ЧИЧЕРИНА..... Очерки Англіи и Франціи. . . . . 1 р.
ЧИЧЕРИНА..... Опыты по исторіи Русскаго права. . . . . 1 р.
ШЕКСПИРА..... Драматическія сочиненія. Часть V. Переводъ Н. Кетчера . . . . . 1 р.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Руководство къ животно-физіологической химіи. Петра Боборыкина.
Первыя четыре части Драматическихъ сочиненій Шекспира. Пер. Кетчера.
Картины природы. Соч. К. Фогеля. Пер. Ив. Бабста.
Земля, растеніе и человѣкъ. Соч. Скау.
Учебная книга Русской исторіи. Сергѣя Соловьева. Вып. 5.
Сочиненія Бѣлинскаго.
Сочиненія К. Кавелина.
Чтеніе для взрослыхъ дѣтей. Кн. 3. Оренбургскій край (Башкиры и Самарскіе колонисты).
Русскія народныя легенды, Аѳанасьева.

ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

Птицы Сѣверной-Америки. Соч. Одюбона.

Deacidified using the Bookkeeper process.
Neutralizing agent: Magnesium Oxide
Treatment Date: Jan. 2007

Preservation Technologies
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION
111 Thomson Park Drive
Cranberry Township, PA 16066

INFORMATION CONSERVATION, INC.
JIR
MAY-JUNE 1988

LIBRARY OF CONGRESS
00024103936